### Акционерная компания «Жизнь до востребования»

# Сергей Снегов

1

Джон Чарльстон принял меня не вдруг. Его секретарша Дороти Томсон предложила мне посидеть на диване. Я вежливо поинтересовался, имеются ли у директора издательства другие посетители в данный момент? Сегодня Джон — мой лучший друг, и я точно знаю, что ни в тот «данный момент», ни в последующие «данные моменты» у Джона посетителей не было. К Джону ходят редко. Джон не позволяет к себе ходить. Он по природе добрый человек, а в его деле нельзя быть добрым. Доброта размягчает, — говорит он с печалью. Он не способен без слез смотреть на тех, кому возвращает их творения. Он предпочитает иметь дело с рукописями, а не с авторами. И если снисходит до того, чтобы пригласить к себе автора, в процедуру приема входит долгое ожидание. Посетитель должен измучиться, без этого он не годится для разговора. Он должен тревожиться, негодовать, то вскакивать, чтобы уйти, то с усилием принуждать себя сесть. Неплохо, если он швырнет что-нибудь на пол. «Писатель — это товар, который хорош только выдержанный, — доверительно делится со мной Джон. — Писателя, Генри, надо выдерживать, пока он не выдержит, — тогда накидывай лассо и вали его на пол».

Он наблюдает за посетителями по телевизору. Возмущение посетителя укрепляет нервы Джона. Повторяю, я узнал все это позже, а в тот день смирно сидел на диване и бросал унылые взгляды на склонившуюся над машинкой Дороти.

В окне я видел здание Радиоцентра — не все сто тридцать этажей, а что-то от шестидесятого до восьмидесятого. Дороти была миниатюрна и привлекательна, на нее еще приятней смотрелось, чем на величественный небоскреб. Я должен описать ее. В драме, действующим лицом которой я стал, она — личность важная. Внешность этой женщины есть ее сущность. Она меняет характер, когда меняет прическу. И она слишком часто меняет прическу! Меня охватывает ужас, когда я думаю о том, что скоро она начнет менять цвет и форму глаз, фирма «Компингтон» обещает такие операции сделать недорогими. Не сомневаюсь, что при каждой смене глаз она будет превращаться в совершенно иную женщину. Я не оговорился — не внешность изменит, а станет другой, просто другой, не Дороти, а Эммой, Лиззи или дьявол ее знает кем. Я второй год имею счастье считать Дороти своей женой и должен признаться, что чертовски неудобно, когда вас обнимает дома незнакомая женщина и томно заверяет, что она ваша любимая супруга и что вы должны ей верно и безропотно прислуживать.

В тот день Дороти была светловолосой, в светлом платье, в светлых туфлях и светлыми пальчиками колотила по белым клавишам. Я загляделся на нее. Она из породы эльфов, так сказал я себе. Если ее выпустить в полдень на лесную полянку, она растворится в солнечных лучах. В мире еще не существовало столь же обворожительной женщины, столь удивительно ни на кого, кроме себя, не похожей. Это я установил уже на второй минуте ожидания в приемной Джона Чарльстона. Драматические ошибки происходили со мной и раньше...

Дороти взяла со стола резинку, чтобы сделать подчистку, и ее взгляд пересекся с моим взглядом. Она вздрогнула и воскликнула:

— Почему вы так смотрите, мистер Гаррис? Ваши глаза обжигают!

Я попытался улыбнуться.

— Глаза как у всех, мисс... мисс...

— Дороти Томсон. Совсем не как у всех! — настаивала она. — Вы меня ранили взглядом. У меня чувство, будто я обожжена. Для начинающего писателя очень скверно быть таким безжалостным. У меня хватает средств быть здоровой, но заболеть!.. Нет, это слишком роскошно!

Вероятно, в тот первый день нашего знакомства я все-таки сумел бы оправдаться перед Дороти, хотя впоследствии мне это никогда не удавалось. Но прогудел сигнал вызова к шефу, и Дороти с возмущением показала мне на дверь в кабинет Джона.

Я замер на пороге, увидев Джона. Это была незабываемая минута. Джон покоился в кресле. Невыразительное словечко «покоился» не передает позы Джона. Мощное тело расплылось в кресле, медузообразный корпус свисал с подлокотников и сиденья. Джон не упирался ногами в пол, а выливался ими на ковер. А на сумбурной горе мяса торчала футбольным мячом голова с выпуклыми ласковыми глазами. Голос у Джона вырывался из тела как бы под давлением: звучали одни тонкие нотки.

— Здравствуйте, Генри! Ведь вас зовут Генри, мистер Гаррис? — пропищал Джон и показал пухлой рукой на кресло. — Сейчас я возьму вашу рукопись. Вот она. Я ее еще не читал. Я посмотрел вашу заявку и приложенный к ней портрет. Ваше лицо удовлетворяет. В ваших глазах что-то есть. Я считаю наше требование, чтобы авторы к рукописям прикладывали и свои фото, важным усовершенствованием литературного процесса. Человек, на которого безразлично смотрится, не достигнет успеха. Теперь помолчите, сэр. Я углублюсь в ваше творчество.

Он читал, а я осматривался. Огромный кабинет Джона был цвета крови — красное дерево мебели, красные ковры, красные панели стен, красные плафоны потолка. И сам Джон хорошо вписывался в цвета своего кабинета. Я говорю не об одежде, он был в темной пиджачной паре, а о багровом мясистом лице и — еще красней — голом черепе. У меня сжалось сердце. Джон хмурился. Он зевнул и покачал головой.

— Если у вас тут еще и луна, то вы конченый человек, Гаррис. Я имею в виду литературу, сэр. В продавцы мороженого вас возьмут с охотой. Признавайтесь сами, пока не дочитал.

— У меня есть луна, — сказал я мужественно. — Она выскальзывает из туч в предпоследней главе. Ее живительный свет влил бодрость в робкого Артура Купера, сто восемь страниц не решавшегося штурмовать сердце Минни Грэй. С помощью луны Артур завладел рукой Минни и нефтяными миллионами ее папаши. Без луны любовь не идет. Я понял вас так, что могу отправляться ко всем чертям?

Неодобрение было ясно выражено на лице Джона. Он промямлил:

— Чудовищно! Сто восемь страниц колебаний! В жизни не встречался с таким отсутствием вкуса.

Я взял рукопись и повернулся к двери.

— Сядьте! — приказал Джон. — Я не могу ошибаться, сэр. Восьмой компьютер Радиоцентра признает меня энциклопедией литературных знаний. Мой официальный код «Безошибочник номер два». Если я заявляю, что вещь стоящая, то публика будет драться из-за книги. Ваша внешность ошеломляет. Нет, вы меня понимаете? При таком фото вы не можете не покорить читателя. Но надо потрудиться, сэр!

— Работа меня не страшит. Если убедят, что нужны переделки...

Он покачал головой. Глагол «покачал» опять не передает реальности. Голова Джона покатилась в углублении между плечами сперва вправо, потом влево. Это было так забавно, что я усмехнулся.

— Вы не поняли, сэр. До вас не дошла высокая истина моих высказываний. Дело не в объеме работы, а в смелости характера. Вы должны быть готовы на все, если хотите овладеть публикой.

Я постарался исправить свою ошибку.

— Требуйте, мистер Чарльстон.

— Я не требую, а советую, — сказал он. — Литература — самый свободный род деятельности. Никаких принуждений! Вы меня понимаете, Гаррис? Максимальное освобождение! Разные условности морали и прочее... За исключением приличия, сэр. Любое преступление — пожалуйста, но если герой появится на балу без галстука — это слишком!

У него стали рассеянными глаза. Он забормотал, вяло постукивая толстыми пальцами по столу:

— Даже из вашей макулатуры можно кое-что выжать. Скажем, так... Нет, скажем иначе! Луну уберем, луна устарела. Впрочем, постойте, луну оставим, стилизуем под старину... Они целуются, а на них падает лист каштана, так? Поцелуи — это пойдет. Он заключает ее в объятия, а с каштана прыгает ее отец и при свете выплывшей из туч луны ловким ударом кинжала... Чего вы хохочете? Не люблю, когда у меня хохочут. Уверяю вас, другие авторы ведут себя гораздо приличней!

— Простите, мистер Чарльстон! Я вдруг вообразил себе папашу Эдди Грэя, кидающегося с кинжалом на жениха своей единственной дочери. Это невероятно, как огородное пугало, танцующее шейк. В мире не существовало людей добрее этого старика. Ему достался от отца солидный пук нефтяных акций, но сам он истинный Дон-Кихот.

— Дон-Кихот? — переспросил Джон, хмурясь. — Я слышал об этом парне. Он царствовал в Англии вскоре после рождения Христова и перед смертью завоевал Рим. Дон-Кихот не пойдет, монархи — это старомодно. Раз вы не хотите кинжала, уберем луну, луна теперь ни к чему. Короче, она похищает его и, угрожая револьвером, требует, чтобы он стал ее женой, а добряк-отец, хорошо знающий дикий нрав своей дочери, пускается в погоню... Почему вы опять смеетесь?

— Вы странно оговорились... Она требует, чтоб он стал ее женой!

— И не думал оговариваться. Вы лишены воображения, старик. Кого заинтересует, что девушка ищет мужа? Штамп. Но если она ищет себе жену!.. О, это окупится!

— В колледже мы распевали веселую песенку: «Как жила Адама с Евом». Мальчишеское озорство...

— Адама с Евом? Это пойдет. Пришлите автора ко мне. Он еще не добился мировой славы?

— Эту песенку сочинил я. И единственное, чего добился, было исключение из колледжа.

— Я сразу понял, что из вас выйдет толк! — изрек Джон. — Посмотрев на ваше фото, я сказал себе: «Стоп! В этих глазах сверкает потустороннее! Человек с таким взглядом не может не завоевать мир!» Я выписываю пятьсот аванса. Через три дня принесете исправленную рукопись. Она должна удовлетворять всем четырем пунктам нашего фирменного патента на художественное произведение. Она будет шедевром моего знаменитого еженедельника «Голова всмятку».

У меня от природы железная выдержка. Кажется, я даже помотал добродушно головой. Хорошо помню, что я почти спокойно сказал:

— Простите, Чарльстон, я, конечно, слышал о патенте на художественные произведения, составляющем собственность вашей фирмы. Но не могли бы вы разъяснить, где тут собака?..

Чарльстон удивился.

— Разве Дороти не познакомила вас с нашими литературными секретами? Тогда какого черта мы теряем время попусту? Слушайте меня, Гаррис. Лет десять назад я барахтался в тине издательских предрассудков. У меня не было ни на пенс вкуса, ни на цент понимания, ни на грош знаний. Я обожал Шекспира и Марка Твена. Кто нынче читает этих скучных стариков, покажите мне такого чудака? Вы меня понимаете, Гаррис? Короче, я подобрал компаньонов, каждый внес но сто тысяч долларов, и мы разработали четыре пункта художественного совершенства. Сегодня любой критический недоносок знает, что из открытых нами истин составлены скрижали современной литературы, но тогда, Генри, это еще не было ясно, нет, не ясно, компаньоны мои временами падали духом. Все гениальное вначале кажется чудовищным... Мы прежде всего запатентовали наши разработки, чтобы не совать их бесплатно каждому литературному инвалиду. Я сказал акционерам: «Атомная бомба запатентована. На переплетение книг есть тринадцать патентов. Но на создание книг нет ни одного. С этим пора кончать». Нам выдали патент под рубрикой: «Технологические нормативы поэтики», номер АВС-717616, под заглавием: «Вечные законы оригинальности и глубины». И первый, на ком мы испытали действие патента, был юноша Беллингворс! О, этот незабываемый день! Вы слыхали о Чарли Беллингворсе, Генри?

— Конечно! Беллингворса сделала знаменитой повесть «Оранжевый крокодил с салатными зубами проглотил бедного Пью Гарпера в шикарной столовой рококо». Однако— Разве он молод? На портрете он такой...

— В тот день он был зеленым юнцом, а на другой повзрослел до гениальности! Чарльза Беллингворса сделал я. Он сидел в том же кресле, где сейчас сидите вы, а на коленях у него лежала повесть «Папаша Джойс и его дочь Мэри». Вы меня понимаете, Генри? Они не лезли ни в какие ворота — папаша Джойс и его дочка. Такие вещи мог бы написать Диккенс или Толстой, но от современного писателя надо требовать большего. Я молча положил перед Беллингворсом наш патент. От растерянности он первым прочел пункт третий. И мир приобрел величайшего мастера ракетно-ядерной литературы!

Чарльстон вытащил из ящика кожаную папку с золотым тиснением.

— Вот наш патент, Гаррис. Раскрываю его, как евангелие. Читайте вслух пункт третий, на остальные пока не обращайте внимания.

— Пункт третий. Называть произведение так, чтобы название не соответствовало содержанию.

— Вы умеете с чувством читать, Гаррис, — торжественно сказал Джон. — У вас даже не дрожал голос! А как смутился бедный Беллингворс, когда я приоткрыл ему снежные вершины мастерства. Но он был великолепный ученик, вы меня... В его первой повести нет ни крокодилов, ни Пью Гарпера, ни столовой, действие происходит в диких горах. Беллингворс сперва посмотрел на меня, как на прокаженного, а затем, не запинаясь, выдал новое название. Оно было доведено до совершенства сразу, мне не пришлось менять ни единой буквы! А теперь читайте весь патент. Я никогда не устаю слушать эти дивные строки.

— Пункт первый, — читал я. — Пишите о невозможном и — по возможности — невозможно. Лучший возглас читателя — ошеломленное: «Немыслимо!» Пункт второй. Героев надо убивать — это воодушевляет. Нормы происшествий по жанрам! Лирический рассказ — не меньше одного убийства; любовные муки, включая ограбления и насилия, через страницу. Детективная повесть: 50 % убийств от числа персонажей; если вначале упомянут дом (банк, корабль, самолет, квартира), то к концу он должен быть взорван или сожжен; отношение гибели сыщиков к гибели бандитов, а тех к гибели обычных людей, примерно: 1: 10: 100. Философская новелла: физические убийства заменяются моральными терзаниями, равновеликими членовредительству. Пункт третий. Впрочем, я его уже читал... Пункт четвертый. Счастливый конец.

Чарльстон слушал, закрыв глаза и тонко похрапывая. Он оседал всей тушей, мне показалось, что от упоения своим творением, он весь выльется из кресла на пол. И сейчас не понимаю, почему мне явилась мысль поиздеваться Над ним. Если бы я знал, к чему приведет моя дурацкая затея, я бы швырнул патент на стол и бежал. Вместо такого разумного поступка я спокойно возвратил Чарльстону кожаную папку.

— Вот так, — сказал он, раскрывая глаза. — Пункт четвертый — счастливый конец для читателя и для вас. Ужасы по дороге и благополучие дома. Три дня на доработку и пятьсот аванса. Я выписываю чек.

— Неделя, — сказал я хладнокровно. — И две тысячи.

Никогда не думал раньше, что глаза могут так вылезать из орбит. Я безмятежно закинул ногу на ногу. Джон пролепетал:

— Я не ослышался, вы меня понимаете? Неделя и две тысячи?

— У вас хороший слух, Чарльстон. Я потерял бы уважение не только к себе, но и к вам, если бы речь пошла о меньших цифрах. Шедевр не может стоить дешево. Дешевизна противоречит высокому духу вашего патента. Вы это знаете лучше меня, раз восьмой компьютер называет вас безгрешником номер два.

— Безошибочником, а не безгрешником, — проворчал он.

— Это еще усиливает мои требования. Вам не кажется, что я должен бы получить три, а не две тысячи?

— Не кажется! — отрезал он, раскрывая чековую книжку.

Я взял чек. Это была роковая ошибка. И еще не спрятав чек в карман, я совершил новую ошибку. Надо было уйти, а я пустился в беседу с медузообразным директором. Я задавал коварные вопросы, он отвечал. У Джона есть внук Перси, чудесный двенадцатилетний мальчишка, мы с ним потом подружились. Я спросил, все ли произведения Беллингворса читал Перси? Чарльстон рассердился.

— Ни одного, Генри! Я же вам сказал: ужасы по дороге, а дома покой. Зарубите на носу, Гаррис...

Он внезапно оборвал свою гневную речь, стал вглядываться в настольный телевизор и торжественно объявил:

— Вам повезло, юноша. Сейчас вы пожмете руку классику антиклассической литературы Чарльзу Беллингворсу.

Мне смерть как захотелось поглядеть на Беллингворса. Я думал, что он такой же ошеломляющий, как его романы. На портретах он выглядел сносно. Но в отличие от Джона я не угадываю людей по фотографиям. Я без успеха потом доискивался, что нашел Чарльстон в моем снимке — лицо как лицо, ничего особенного в глазах. Но когда вбежал Беллингворс, я содрогнулся. В нем было что-то нечеловеческое. Он не был гармонизирован с самим собой. В кабинете Чарльстона появился крупный человек, а все детали и черты в этом крупном человеке были мелкие. Он был несимметричен. Массивный корпус покоился на тонких и коротких ногах, на широком лице тускло мерцали злые глазки, удлиненные уши свирепо оттопыривались, нос был не больше наперстка и примерно такой же формы, всегда приоткрытый рот с тонкими — веревочкой — губами обнажал узкие, длинные зубы. Он кинулся к Чарльстону, тряхнул его руку, потом пошел на меня. Мне почудилось, что он собирается укусить. Но он только пожал мою руку потной ладошкой и еще шире оскалил могучие зубы. Он принял мой испуг за благоговение.

— Алло, Джон, — сказал он сипло, — обучаете юнцов делу Каина? Старый пройдоха, когда вы угомонитесь? Пляшите, я придумал повесть, которая будет не развлекать, а убивать. Джон, вкладывайте деньги в сумасшедшие дома, скоро за места в них станут драться.

Джон тяжело ерзал и громко сопел. Он старался подтянуть свое выплывшее из кресла тело. Лицо его покрылось потом. Он упирал локти в подлокотники, но тесто рук обвисало с краев и приподняться он не мог. Мне стало жаль директора издательства. Я бы помог ему, если бы не выражение лица Беллингворса. Тот наслаждался мучениями Чарльстона. Он глядел так злорадно, словно хотел прикончить своего друга. Если бы он душил или грыз Чарльстона, вряд ли бы ему пришлось менять свою мину на более зверскую.

— Название, Чарли, — пролепетал Джон, так и не выкарабкавшись из кресла. — Ваша сила в названиях, это известно всему миру...

— На этот раз читатель снесет его без помощи врача.

— Чарли, вас самого надо убивать! Вы меня пони?..

— Сидите спокойно. Не вытаращивайте глаз. Название такое. «Достопочтенный Питер Пакерс женился на нежной крысе, а веселые крысята сожрали бабушку». Каково?

Он выкрикивал название новой повести, а меня озарило понимание. Я теперь знал, почему в нем ошеломляло что-то нечеловеческое. Знаменитый писатель Беллингворс был крысой. Пусть поймут меня правильно. Я не сошел с ума, чтобы утверждать, что он был крысой биологически. Крысы, слава богу, не расхаживают в дорогих костюмах, не душатся, не завиваются, не пишут бестселлеров. Беллингворс является крысой не в презренном физиологическом смысле, а в более высоком: крысость — философская сущность этого человека. Он был крысой по душе, по разговору, по движениям, по глазам, по зубам... Если бы крысе предоставили возможность, сохранив нутро, принять человекоподобие, она выбрала бы себе облик Беллингворса. Дольше оставаться было опасно. Я осторожно направился к двери. Джон говорил, отдуваясь:

— Подойдет! Не сногсшибательно, но мило. Конечно, в повести нет ни крыс, ни Питера Пакерса. О бабушке уже не говорю. Держу пари, что действие разворачивается на курорте и героиня, очаровательная Эллен, завоевывает поклонников во время заплыва стилем кроль.

Беллингворс презрительно засмеялся.

— У вас гаснет воображение, Джон. Эллен завоевывает жениха на смертном одре. Президент акционерной компании «Врата рая» греческий еврей Петр Апостолиади, вместе с двумя бандитами, итальянцем Тертуллианом и ирландцем Фомой по прозвищу Неверующий, а также мой неизменный главный герой Джек Недотрога...

Я тихонько притворил дверь. Дороти восхитительно улыбнулась. Чек в кармане обжигал меня. Я был готов на все.

— Дороти, вы совершили преступление, — сказал я строго. — Вы не познакомили меня с художественными канонами издательства «Голова всмятку». Я должен вас наказать. Я буду поить вас шампанским и заставлю танцевать со мной. Проделаем это сегодня вечером.

Ее улыбка стала еще ослепительней.

— Боюсь, это исключено, мистер Гаррис. Сегодняшний вечер я обещала Морису Меллону. Он ждет меня у кинотеатра «Иноземец». Вряд ли вам понравится, если я явлюсь со своим другом.

— Наоборот, это меня вполне устроит. Мы с ним дружески поговорим. На исходе второго раунда я превращу его в калеку.

Она поглядела на меня со страхом. У нее быстро менялись выражения лица, и каждое соответствовало обстановке. Я не был защищен от чар такого дьявольского умения. Она сказала, нежно улыбаясь:

— Он хороший. Ему не пойдет быть калекой.

— В таком случае позвоните, чтобы он шел не к кинотеатру «Иноземец», а к чертовой бабушке. Иначе я сам отведу его за ручку в преисподнюю. Как, вы сказали, зовут этого ублюдка?

Испуг в ее глазах уступил место покорности. Это доныне остается самым сильным ее оружием. Она умеет безропотно покоряться, если исполняется то, чего ей хочется.

— Не помню. Мне кажется, у него нет имени. Я ему, конечно, позвоню. Где вы хотите со мной встретиться, мистер Гаррис?

— Разумеется, у «Иноземца». Там всегда много света, а вы вся такая светлая, Дороти.

— В таком случае, в восемь часов. Вы не будете возражать, если я надену темное платье? Вечером мне больше идет темнота.

— Не буду возражать, — буркнул я и ушел. Разговор с Дороти был крупнейшей ошибкой этого дня.

2

Прежде всего я превратил дарованный Джоном чек в чековую книжку. Эта операция совершилась в «Национальном банке братьев Фаррингтон». Перед семидесятиэтажным банком чахнет крошечный скверик, заполненный не столько деревьями и кустами, как рекламными щитами. Я сел на скамеечку, притулившуюся к пожелтевшему клену. Меня осенял плакат, кричащий пастью нарисованного на нем здоровенного дебила: «Все для вас — только у нас!» Недоумок был похож на Чарльстона, только не такой толстый. Мимо меня бежали в банк люди и выбегали оттуда, ни один не ходил, тем более не шествовал. У национального банка всех охватывает лихорадка. Вероятно, вот так же влетел в вестибюль и вынесся оттуда, словно из горящего помещения, и я. Стало холодно, я запахнул пиджак. Небо было, наверно, чисто, и оттуда несло октябрьской прохладой. Я сказал, наверно, потому что увидел вместо неба лишь струящиеся цветовые сполохи реклам. Воздух красочно бесновался от призывов, просьб и требований куда-то пойти и что-то сделать. Я тупо смотрел вверх и размышлял, как мне отомстить Чарльстону.

Я должен остановиться на этом подробней. Джон еще не был моим лучшим другом, но зла от него я и тогда не видел. Он был скорей благодетелем, а не врагом. Он открыл во мне дарование писателя, чего никто до него не смог сделать. Он великодушно одарил меня внушительной суммой, а я так нуждался. И сделал это из одной веры в меня. Он мог ожидать моей благодарности. Я ненавидел его. Еще ни один человек так не оскорблял меня. Я не мог этого оставить непокаранным.

И я с наслаждением размышлял о том, что с абсолютной точностью выполню требования его чудовищного патента. О, это будет сногсшибательно в точном значении слова! Чарльстон свалится, не дочитав и половины. Он сползет всей тушей на ковер и расплывется! Он жаждет игривой вещицы, я поднесу ему бомбу. Чтение будет подобно взрыву. Директора популярного издательства Джона Чарльстона уничтожат требования его собственного художественного канона. И даже возместить аванса он не сможет, я и в запятой не отступлю от них!

Так я мстительно тешил себя и радовался, словно добился огромного успеха. Но потом я перешел от задания к сюжету, и настроение мое испортилось. Идея была, сюжета не было. Патент Чарльстона был хитрей, чем мне сгоряча вообразилось. Он оставался чудовищным, но в нем не было примитива. Самым трудным был первый пункт — писать о невозможном и по возможности — невозможно. И бесчисленные убийства, и любовные терзания, и счастливые концы — все это легко выполнимо. Но писать невозможно о невозможном — нет, это невозможно!

— Может, накатать понепонятней? — пробормотал я вслух. — Что-нибудь вроде: «Свенто Сигурсон расиралямин тругада одним глазом и тут же лаперкакер, после, чего взини трухто трухата и, обливаясь чертонотакией, он худербарабил к ногам...» Нет, не пойдет. Невозможно о невозможном нечто иное, чем непонятно о понятном. Худербарабию Чарльстон отбросит на второй фразе. Чертопотакией его не сразить, это я понимал.

Так я терзался муками творчества в скверике, собранном из плакатов вперемешку с кленами. Я перебирал десятки вариантов, ни один не годился. Надо было подкрепиться перед ужином с Дороти, но я не мог заставить себя подняться. Я ожидал неожиданного случая, что мне поможет. Такие предвиденные счастливые непредвиденности обязательны, без них ничто серьезное не совершается. Около меня остановилась газетная автотележка. Я купил утренний выпуск «Ежедневного убийцы» и полистал газетку. Неизбежными неожиданностями и необходимыми случайностями — в общем, ничем счастливым — от нее и не пахло.

Я уже собирался уходить, когда с верхнего этажа небоскреба свалился апельсин. Просвистело что-то темное, я испуганно отшатнулся. Из моих рук была вырвана и пригвождена к земле газета, но, как вскоре выяснилось, «Ежедневный убийца» тоже не пострадал.

И тут возникла непременная случайность, какую я ожидал. Случайность приняла облик старого бродяги, небритого и худого. Выброшенный апельсин и полуразрушенный от голода и пороков бродяга составили комбинацию неожиданности и случайности, называемую удачей.

Бродяга отбросил апельсин и подал мне газету.

— Рад помочь вам, — объявил он, сдувая с газеты пыль.

— Газета мне не нужна, — ответил я. — Можете взять ее себе.

— Но ведь это «Ежедневный убийца», — сказал бродяга.

— В нем ничего интересного. Удивительно скучный номер.

— На третьей странице мальчик Пьер застрелил свою сестру Ани, — напомнил бродяга.

— Один смелый парнишка на пятьдесят миллионов наших парней...

— Четверо самоубийц-трусов обещают перечислить по тысяче долларов тому, кто незаметно для них прикончит их — объявление на всю вторую страницу.

— Капля в море сравнительно с четырьмя тысячами нормальных самоубийц, ежегодно отважно расправляющимися с собой.

— А на последней странице, нонпарелью, сообщение о казни гангстера Джима Джексона, просидевшего восемь лет в одиночке.

— По-вашему, это заслуживает внимания?

— Нет, — сказал с глубоким отчаянием бродяга и, обессилев, присел на скамейку рядом со мной. — Нет, как же мне не везет! На смерти Красавчика-Джексона не заработать жалкой никелевой монеты! Куда катится мир, я вас спрашиваю?

— Вы придаете значение смерти какого-то гангстера?

— Придаю ли я значение? О! — Бродяга возмущенно поднял руку, хрипы в его голосе стали глубже. — Почему вы не спросите, придаю ли я значение собственной жизни, ибо я имел честь почти четверть века работать на великого Красавчика! Понимаю, что вы не поверите, ибо мой внешний... Короче, я Билл Корвин, по прозвищу Шляпа, со всей ответственностью утверждаю, что на земле не существовало человека добрей, великодушней, нежней душой, чем наш шеф. Джим Джексон был последним человеколюбцем в мире. Нет, я оскорбляю память своего незабвенного друга невыразительным словцом «человеколюбец»! Он был величайшим человекострадателем на земле! Да, сэр, да, со смертью Джексона больше не существует святых. Человечеству поставить бы ему памятник при жизни, а его казнили — такова горькая действительность!

Заинтересованный, я прочел сообщение о казни Джексона.

— Вы назвали его великим человеколюбцем и человекострадателем? А он отправил на тот свет 117 человек, среди них сорок три женщины и пятнадцать детей. Не многовато ли для святого? Если он и был человекострадателем, то лишь в том смысле, что от него страдали.

— Да, человеколюбец и человекострадатель! — запальчиво закричал бродяга. — Сто семнадцать человек! Что значит сто семнадцать человек для такого титана, как Джексон? Вы по виду джентльмен, но если покопаться, то обнаружится, что вы укокошили не меньше трехсот. Да, трехсот, сэр, я человек объективный и ненавижу преувеличения.

— Я в своей жизни совершил лишь одно убийство. Отвратительный старый кот, от которого шарахались молодые кошки, устраивал ночные плачи под моим окном!.. Ничьей другой крови нет на моих руках.

— А вспомните, со сколькими людьми вы расправлялись мысленно? Скольким во гневе желали смерти? Вы отцеубийца и матереубийца, сэр, вы даже на мать поднимали в мыслях руку! А в минуты неудач вы приканчивали себя! Вы двадцатикратный самоубийца, вот вы кто.

— Воображение у меня есть — и матери, и отцу, и братьям в мечтах моих доставалось, себя я тоже не жалел.

— Вот-вот, вы еще и братоубийца! Я понял вас сразу. Когда вы отшатнулись от апельсина, я сказал себе: «Билл, не может быть, чтобы ты не добыл монеты у человека с такими удивительными глазами».

— Возвратимся к Джексону. В мыслях все мы порой... Но ваш Джим был реальным убийцей. Улавливаете разницу?

— Она существует лишь для нас, но у бедного Джима не было разницы между желанием убить и убийством. Да знаете ли вы, что Джиму было легче убить, чем пожелать убийства! Сколько раз этот великий гуманист твердил мне: «Билл, самое ценное в мире — это человек! Если вам кто-нибудь предложит устранить его врага за тысячу, плюньте негодяю в лицо. Берите пример с меня, Билл. В мире не существует сил, которые бы заставили меня пойти на такое дело меньше, чем за пять тысяч». А как часто Джим отказывался от великолепно подготовленного убийства! Сколько тратил нервов, чтобы примирить людей, впившихся один другому в глотки. Это был величайший примиритель, за это он брал всего полтысячи. Отказаться от пяти тысяч ради пятисот! После этого не говорите мне о бескорыстии других! Джима надо было толкать на убийства кулаком в спину. И он плакал над жертвой, да, сэр, плакал.

— Крокодилы, когда уплетают добычу, тоже плачут.

— Не имел дела с крокодилами. На их убийства не поступало заказов. А что до Джима, то одна почтительность, с какой он обрывал вашу жизнь, говорит, нет, сэр, вопит в его пользу! Знаете ли вы, что Джим убивал золотыми пулями? Он считал свинцовые недостойными ни его самого, ни тех, кого он готовился... «Это дань уважения клиенту», — говорил он, заряжая револьвер золотом.

— Вы рассказали о вашем приятеле занятную историю.

— Горестную историю, сэр! Такой дуб рухнул! Я надеюсь, вы не пожалеете одной монетки на поминки этого гения великодушия!

Теперь я знал, что делать. Сюжет книги стал ясен.

— Я не пожалею десяти. Держите деньги. В восемь у меня деловое свидание. Сейчас шесть. Я угощу вас хорошим обедом и запишу некоторые из ваших рассказов. Идемте.

3

Темное платье, и вправду, шло Дороти. На улице неистовствовали рекламы. Все потоки света погасали в Дороти. Она двигалась клубком темноты в бесновании огня, только лицо светилось.

— Вы дух ночи, — сказал я откровенно. — Было бы нечестно скрывать это от вас, Дороти. Вы могли бы царствовать в Эфиопии, там обожают темный цвет. Теперь понимаю, почему Адам влюбился в черную величественную Лилит, когда у него была светозарная простушка Ева.

— Я знала одного Адама, это был монтер, чинивший наш лифт, — ответила она. — Бедняга пытался за мной ухаживать. Эфиопия — это далеко?

— Сразу за поворотом истории и двумя океанами. Пять тысяч лет и десять тысяч миль.

— Далеко, — сказала она со вздохом. — Лучше пойдем в ресторан.

Мы пошли в ресторан. Мы сидели под магнолией в кадке, пили шампанское и ели креветки. У Дороти отличный аппетит, он свидетельствовал о хорошем здоровье. Потом мы танцевали. Дороти вела меня столь деликатно, что оставляла мне впечатление, будто я веду ее: не поддерживала моих неправильных движений и откликалась только на нужные. Я быстро освоил эту технику и уже на третьем танце безукоризненно вел ее, как она хотела.

— Дороти, вы восхитительны! Мне кажется, я влюблен в вас, — сказал я. — У вас есть возражения?

— Ох! — сказала она, садясь. — Жарко, я устала. Налейте мне воды со льдом. Вы сказали что-то о возражениях, Генри?

— Вы правы. Возражений быть не может. Предлагаю свадьбу через две недели.

— Через две недели? Какой странный срок! И между прочим, я еще не сказала, что согласна на брак.

— Вы подумали об этом. С меня достаточно вашей мысли. А две недели вот почему. Первую неделю я перерабатываю повесть. А вторую неделю Джон Чарльстон после чтения ее будет лежать в реанимационной палате. Когда он встанет с постели, мы устроим свадьбу.

— Как интересно! Шеф сказал, вы писатель многообещающий. Вы серьезно думаете, что книга его убьет? Просто не могу поверить!

— Искусство медицины стоит в наше время на большой высоте, — ответил я уклончиво. — Но врачам придется повозиться!

— Это так прекрасно, когда книга убивает! — сказала она мечтательно. — Я первая прочту вашу рукопись. Если вы меня убьете, я буду очень, очень любить вас!

— Я жестоко расправлюсь с вами, Дороти! Вы будете счастливы. Наша безмятежная жизнь пойдет от одной смерти к другой. Я говорю о книгах, вдохновляемых вами и патентом Чарльстона.

Она почти с любовью смотрела на меня. Морис Меллон, по-видимому, не стоил моей подметки. Она призналась, что не помнит, как он выглядит и не уверена, что узнает, если они повстречаются на улице. У ее дома я поцеловал ее, потом еще. Она оттолкнула меня:

— Больше пяти раз подряд я не целуюсь. Это вредно для здоровья. — Она добавила грустно: — Две недели! Это так нескоро. Но мы хоть будем видеться эти дни, Генри?

— Ни разу, Дороти. Когда я пишу, меня нет. А встречаться, когда вашего шефа будут выволакивать из пут смерти, нечестно. Зато в следующее свидание я возьму вас под руку, и мы пойдем в церковь.

— Я буду ждать, — прошептала она, прижимаясь. — Я буду ждать вас вечно. Через две недели, так вы сказали?

— День в день, — подтвердил я.

Я шел домой и смеялся. Я был в восторге. Вероятно, на меня нашло вдохновение. Дороти не выйдет за меня, когда перелистает рукопись. Ее отказ будет единственной потерей. Мне двадцать девять лет, я уже влюблялся, терзался, ликовал, сходился и расходился. Женщины не стали центром моего существования. Потерю Дороти я перенесу. Передо мной стоял мой роман, я мысленно читал еще не написанные страницы. Это было воистину «невозможное о невозможном». Большего вздора, рассказанного дьявольски серьезно, большей галиматьи, украшенной правдоподобнейшим орнаментом, и не вообразить! Я доводил художественные каноны Чарльстона до абсурда. Его патент взрывал сам себя.

Дома я кинулся к машинке. Ночь — лучшая пора для черного замысла. Я свирепо расправился с прежним сюжетом. Теперь главным героем повести, взамен недотепы Артура Купера, стал Джим Джексон но прозвищу Харя-Красавчик — директор акционерной компании «Жизнь до востребования». Фирма специализировалась на частных поставках смерти и считалась солидным предприятием. Крупнее ее было лишь военное ведомство, но там занимались конвейерным производством убийств и индивидуальных заказов не принимали.

Джим Джексон, генеральный поставщик частной смерти, делал все, чтобы примирить кровожадных заказчиков. Артур Купер уже на четвертой странице вручил фирме десять тысяч наличными, чтобы ребята Джексона расправились с папашей Эдди, а тот на странице пятой подписывал контракт на пятнадцать тысяч за избавление от кандидата в наследники. Харя-Джексон, красивый, темноволосый и темноглазый, не спешил с выполнением обязательств. «Заказ на смерть еще недостаточен для производства смерти, — поучал он помощников, верзилу Тома Тапкинса, по прозвищу Крошка, и светловолосую Дженни Гиену, по прозвищу Змея. Жизнь созревает девять месяцев, прежде чем дает о себе знать криком новорожденного. Дайте смерти хотя бы девять недель созревания».

Такова была первая часть романа. Я написал ее за ночь. Основная драма разыгрывалась во второй части. На нее я убил три дня.

Это была драма самого директора фирмы «Жизнь до востребования». Заказчики Купер и Грэй подстегивали фирму. Наивный Артур Купер посылал письма с мольбами об убийстве, а энергичный и злой — теперь он был энергичным и злым — папаша Грэй обратился в частно-сыщицкую контору «Убей убийцу» известных детективов Пата Инкертона и Роба Буланда.

— Все в порядке! — сказал папаше Грэю высокий Пат, а толстый Роб кивал головой. — В частные дела мы не мешаемся и не потребуем объяснений, чего вы не поделили с фирмой Джексона. Но истребление бандитов поощряется законом, платите триста аванса за каждую голову и ждите результата. Ах, лично Джима? Харя — случай особый. В общем — перечисляйте тысячу и спите безмятежно. Джим от нас еще ни разу не уходил. Вы не поверите, сколько раз мы его убивали!

Так началась безжалостная охота на несчастного Джексона. Сыщики ловили его на улицах и дома, подстерегали в туалете, стреляли в него из машин и поездов. Великий гангстер метался как затравленная крыса. Вскоре он понял, что выхода нет.

— Рано или поздно эти бандиты — пат-инкертоновцы укокошат нас, если мы не удовлетворим наших заказчиков, — сказал он с печалью помощникам. — Контора Пата сама не берется за рискованные дела и живет лишь тем, что принуждает нас идти на них.

— Папашу Эдди я беру на себя, — прогудел одноглазый верзила Том по прозвищу Крошка. — А жениха пусть загрызет Гиена.

— Удовлетворять обоих заказчиков излишне. Ублажим одного, второй не запротестует, ибо будет мертв. Вопрос — кого ублажить?

— Того, кто больше платит, — пролаяла Дженни Гиена по прозвищу Змея. — Я приглашу студентика на свидание и задушу в объятьях.

— Нет, — твердо сказал Джексон. — Мы не беспринципные служаки Пата. Убивая человека, я должен быть уверен, что так лучше и ему, и обществу. Для меня убийство — высокоморальный поступок, шаг вперед в совершенствовании гуманизма. Без нравственного удовлетворения убийство мне претит. Что пользы, если мы устраним Купера? Появится новый жених, и его снова понадобится устранять. Отцовская злоба ненасытна. Но если устранить отца, наступает счастливый конец. И по-честному, меня доводят до слез трогательные моления Артура. Я уже люблю его, как сына. Я не отдам на поругание это святое чувство ради пяти тысяч разницы.

— Значит, я, а не Гиена, — подвел итоги Том Крошка. — Дайте парочку ваших золотых пуль, Джим.

Нефтепромышленника Эдуарда Грэя убили во время совещания директоров в его рабочем кабинете. Золотая пуля вылетела из зеркала, когда Грэй поправлял галстук. Таинственного убийцу обнаружить не удалось. Газеты отвели ужасному происшествию по три полосы, с подробностью описывая горе дочери и ее траурные туалеты.

Спустя месяц состоялась свадьба Минни Грэй и Артура Купера.

Перед венчанием в церковь протолкался Харя-Джексон и вручил жениху перевязанный ленточкой пакет.

— Здесь пять тысяч долларов; свадебный подарок от фирмы.

— Пять тысяч? — изумился жених. — Почему такой роскошный дар?

— Таков был аванс, переведенный вашим безвременно погибшим тестем. Мы всегда возвращаем авансы по невыполненным контрактам.

— Вы благородные люди, — прослезясь, воскликнул жених и сердечно пожал Джиму руку.

Выходя из церкви, Харя Джексон столкнулся с болтливым верзилой Патом Инкертоном и молчаливым толстяком Робом Буландом.

— Как поживаете, Джим? — приветствовал его Пат. — Вы не находите, что мы сделали все возможное по этому делу?

— Вы отличные ребята! — сердечно сказал Харя-Джим, и они обменялись рукопожатиями.

Закончив роман, я обнаружил, что рукопись удовлетворяет всем пунктам художественного патента издательства «Голова всмятку», кроме третьего. Название «Акционерное общество „Жизнь до востребования“» сразу раскрывало суть. Я поставил первое попавшееся: «Танцовщица Чарльз Доппер поет в гробу» и бросил рукопись в почтовый ящик.

— Если тебя не хватит кондрашка, то ничего не понимаю в людях! — торжественно кинул я вслед рухнувшей в черное отверстие рукописи. Я говорил, естественно, о Джоне, а не о романе.

Теперь надо было выдержать неделю. Джон невыдержанных в приемной авторов побаивался. А я побаивался прийти до того, как возмущение от моей проделки упадет от дикой ярости до тихой скорби. С горюющим о потере аванса директором можно договориться о чем-то, более стоящем, чем выполнение фантастического патента. Только теперь понимаю, на какой зыбкой почве я строил свои расчеты.

Я пришел в издательство в середине дня. Дороти залилась краской и нервно вскочила. На ней было килограмма три украшений — перстни на пальцах, кулон на груди, бусы на шее, диадема в волосах, серьги с блюдце. Мне кажется, продень она золотое кольцо в нос, оно не вступило бы в противоречие с роскошью остального убранства. Она смотрела на меня округленными глазами.

— О! — только и сказала она. — О, это вы, Генри!

— Это я! — подтвердил я поспешно. — Понимаю ваше состояние, Дороти, но об этом поговорим позже. Как с шефом? Он здоров?

— Боже, что вы сделали с ним! Еще ни один автор...

— К нему можно пройти? Я подразумеваю — немедленно?

— Он вас ждет.

Я торопливо прошел в кабинет. Джон бессильно заполнял студнеобразным телом все то же кресло. По обе руки сидели два безликих, безукоризненных джентльмена — акционеры фирмы «Голова всмятку», как я вскоре узнал. Чарльстон замахал на меня рукой, словно отгоняя зловещее видение.

Безукоризненные джентльмены робко встали.

— Смотрите на него! — слабо проверещал Чарльстон. — Смотрите на этого пройдоху! А ведь я пообещал сделать из него литературного гения. Так страшно ошибиться! И это я, Безошибочник номер два!

— Ради бога, не сердитесь! — смиренно попросил я.

— Он просит не сердиться, нет, вы меня понимаете? Этот обманщик хочет, чтобы я сохранял спокойствие!

— То, что вы сделали, поразительно! — с уважением прошепелявил Блейк, это был правый джентльмен.

— Сверхгениально! — визгливо выкрикнул Сузпилс, это был левый.

Я положил руку на висок, чтобы голова перестала вращаться.

— Я не ослышался? Вы одобрили рукопись?

Чарльстон вырвался из кресла, словно выброшенный пороховым зарядом. До сих пор не понимаю, где у него нашлись силы так взметнуть свои 130 килограммов. Он подтащил меня к окну, а по дороге гремел:

— Он опять издевается, Блейк и Сузпилс! Одобрена, нет, вы меня понимаете? Гаррис, видите грузовики, выезжающие из туннеля? Они везут ваше произведение. Мы отставили новую вещь Беллингворса, чтобы открыть светофоры вашему шедевру. Завтра публика будет драться насмерть из-за вашей книги. Я категорически утверждаю, Гаррис, что вы супергений. Я понял это сразу, как взглянул на ваше фото. Информирую вас, дорогой Гаррис, что акционеры фирмы со мной согласны.

— Полностью согласны! — зашепелявил Блейк.

— Полностью согласны! — взвизгнул Сузпилс.

— Я финансовый директор, — запоздало представился Блейк. — Мы хотим заключить договор об издании двенадцатитомного собрания...

— Нет! — воскликнул Чарльстон. — Тысячу раз нет, вы меня понимаете? Договор — успеется. Мы явились сюда для другого торжественного события. Вы не догадываетесь, почему мы оделись, как на бал?

— Нет, конечно! — Я делал нечеловеческие усилия, чтобы не показать смятения. Была минута, когда я боялся, что упаду в обморок.

— Посмотрите на него, Блейк и Сузпилс! Этот обманщик еще говорит «конечно»! В жизни не встречал большего мистификатора. Дорогой Генри, Дороти открыла мне, какое вас ожидает сегодня счастье. Надеюсь, вы не посетуете, что организационную сторону поворота вашей жизни я взял на себя. Я не мог позволить вам утруждать свой гениальный мозг такими мелочами, как выбор церкви, приглашение гостей, заказ свадебного ужина. И я преподнес невесте несколько свадебных украшений от вашего имени — в счет гонорара, естественно. Короче, нас ждут в церкви, Гаррис, вы меня понима...

Все совершалось как во сне. Я молча шел, куда вели. Дороти взяла меня под руку. На ней звенели серьги и бусы, сверкали кулоны и диадемы, она держала меня так, чтобы были видны все перстни. Я это снес. Я слабым голосом ответил «да», когда пастор спросил, согласен ли я взять в жены девицу Дороти Томсон. И я не сказал ни слова против, когда Джон объявил, что заказал нам апартаменты в модном отеле, он не сомневался, что ни моя холостяцкая квартира, ни скромное жилище Дороти не годятся для нас. Сквозь толпу незнакомых гостей протиснулся Беллингворс. Он так обнажил клыки, словно хотел тут же разорвать меня. Поздравление соответствовало гримасе.

— Гаррис, вы создали шедевр, — завистливо провизжал он. — Вы доказали, что порядочные люди остались только среди гангстеров. Я дал вашу книгу моему младшему сыну Тому, он мечтает стать убийцей. Поздравляю с замечательной женой, Гаррис! Вы стоите друг друга.

Я все же не влепил ему пощечины, в церкви было неудобно. Зато я улыбнулся ему. Он отскочил, как ужаленный. У него слабые нервы, он не снес моей улыбки. Потом был ужин в банкетном зале отеля, где мне отныне предстояло жить. Еще никогда я так вкусно не ел и не пил. Мой желудок потом неделю мстительно напоминал об этом ужине. А когда мы остались одни с Дороти, она села мне на колени и проворковала:

— Мой дорогой Генри, я так мечтала об этой минуте! Я так мечтала!

Почему-то я ждал именно такой фразы. Я твердо знал, что даже отдаленно похожего в моей жизни не было. Но меня томило ощущение, что происходит нечто давно знакомое, что заново воссоздается уже пережитое. Я обнимал Дороти и молчал. Теперь она должна спросить, люблю ли я ее и попросить, чтобы любил крепче. Дороти положила голову мне на плечо и нежно прошептала:

— Генри, вы любите меня? Я хочу, чтобы вы еще крепче любили меня, Генри!

Лишь тяжким усилием воли я не дал себе вздрогнуть. В мою жизнь ворвалось нечто зловещее. Я стал игрушкой в руках враждебных сил.

4

Если определить одним словом мое состояние после женитьбы, то слово такое найдется легко: ошеломление. Я только добавил бы: непрерывное, непрестанное, нестихающее, неуменьшающееся... Можно воспользоваться и формулой из патента фирмы «Голова всмятку»: невозможное о невозможном. Я обитал в непредставимом мире, вращался среди загадок. Куда ни падал мой взгляд, что я ни ловил ухом, все представлялось непостижимым. И самой непостижимой загадкой был успех моего романа!

Вначале я тешил себя иллюзией, что Чарльстон — дурак, что акционеры фирмы — дегенераты, что Беллингворс — подонок и что восторженные читатели — ослы. Но уже и в те недели ошеломления я смутно осознавал, что тайна гораздо глубже и грозней. Я это понял окончательно, когда читал статью знаменитого критика Мака О’Нелли. Мак отмечал легкость моего письма, занимательность сюжета, искусство драматических событий. «Все это не так уже существенно, — утверждал он. — Талантливых писателей немало и помимо Гарриса. Сила Гарриса в проникновенной реальности. Каждое слово его романа дышит глубокой правдой». Я подскочил, читая эти невероятные строки. Мак О’Нелли считался знатоком. Но я писал памфлет, а он прочел оду. Я издевался, он увидел восхваление. Я издавал на бумаге постыдные звуки, он услышал торжественный марш. Он воспринял мое произведение, как Чарльстон с акционерами, как Дороти, как Беллингворс, как миллионы читателей. Кто же ошибается? Может быть, они все правы, а неправ я? Но тогда мы живем в разных мирах!

Помню, что мысль о каких-то разных мирах, перемешанных между собой, явилась мне именно при чтении статьи Мака О’Нелли. Я подозревать не мог тогда, какие последствия породит эта идея. Вначале она свелась к кичливому успокоению: «Вы — в низменности, а я — на вершинах!» Я готов был допустить, что читатели, барахтающиеся в каждодневности мелочного бытия, и не слышали о высоких сферах, созданных прекрасными книгами. Я книжник, они далеки от искусства!

Возможно, надо было скандально обругать Чарльстона, вышвырнув его чеки. На это у меня не стало решимости. Джон трогательно заботился обо мне. Он твердил, что гордится мной. Он объявил репортерам, что издание моей книги — его величайший жизненный подвиг. «Генри Гаррис создает одни шедевры, вы меня понимаете?» — вдохновенно изливался он на телеэкране. Я не мог нанести ему оскорбления. И я не хотел обижать Дороти. Она так наслаждалась замужеством, такой была нежной! Я только спросил однажды:

— Крошка, откуда эти словечки?.. Ну, те, что ты говоришь, когда ласкаешься. Ты их вычитала в книгах? Ты их слышала когда-нибудь?

Она широко раскрыла глаза.

— Разве их печатают в книгах, милый? Я так мало читаю, ты не сердишься на меня за это? Мне всегда не хватало времени...

— Но откуда ты их берешь?

— От тебя, — сказала она уверенно. — Слова эти рождаются во мне, когда ты обнимаешь меня.

Пришлось ограничиться этим мало что объясняющим объяснением.

Я сумрачно вспоминал бродягу Билла Корвина, по прозвищу Шляпа. Все загадки начались с него. Единственное правдивое в книге было то, что я с точностью воспроизвел немыслимый рассказ Шляпы о жизни благороднейшего из душегубов, честнейшего из вымогателей, величайшего человекострадателя среди убийц. Я посмеивался восхвалениям Корвина, хохотал, перенося на бумагу дикие измышления бродяги, дошедшего от голода до горячечных фантазий. Он и сам не настаивал на правдивости своих откровений, он лишь старался придать им красивую внешность. Но может, и впрямь все было правдой, а Корвин обдуривал меня, хитро накладывая на реальность пестрые краски выдумки? Я ненавидел этого источенного пороками субъекта — в своем голодном вдохновении он показал художественный дар, куда превышающий мои способности.

Я так много размышлял о Билле Корвине, что постоянно видел его перед собой — морщинистого, дурно одетого, скверно пахнущего. Чарльстон намекал, что пора приниматься за новую повесть — желательно, в стиле первой. Дороти нежно ворковала об этом же в промежутках между поцелуями — ей становилось мало моих доходов. Я сел за второй роман, придав одному из героев черты Билла. Мне захотелось расправиться с ним. Сперва я бросил его под автомашину. Но по сюжету он еще был нужен, пришлось его вылечить. Зато потом я втравил Билла в ссору с Дженни Гиеной по прозвищу Змея, и Змея вонзила в его сердце золотой кинжал в форме крестика, она всегда набожно носила на груди эту семейную реликвию, маленький ювелирный шедевр...

В этом месте у меня появилось ощущение, будто я сам убиваю. Я с содроганием бросил рукопись: буквы сочились кровью.

Я снова схватил рукопись и стал ее рвать, потом выбросил в окно останки. Куски расчлененной повести долго носились на ветру. Я возвратился к пишущей машинке. Меня охватило раскаяние. Билл, по прозвищу Шляпа, все же не заслуживал такой жестокой расправы. Он был обманщик, конечно, но от горячности души, а не от злонамерения. Уничтоженный отрывок нужно было переписать заново — и с другим героем, не похожим на злосчастного Билла.

Работа, однако, не шла. Я пошел развеяться. У двери универмага «Все — и больше» компании «Гольдшайс и внук», я увидел толпу вокруг мужчины, лежащего на тротуаре спиной вверх. Пока я проталкивался поближе, подъехала полицейская машина, пострадавшего увезли.

— Загадочная история! — взволнованно говорил один из очевидцев. — Этот пожилой, бедно одетый человек входил в магазин, когда подскочила красивая женщина, вонзила ему в грудь кинжал и тут же словно испарилась.

— И еще удивительней, — добавил второй очевидец, — что кинжал золотой. Убивать золотым кинжалом! Что он золотой, я хорошо видел.

— Мы все видели, — сказал первый. — Кинжал в форме креста. Такие крестики наши бабушки носили на шее. Только он больше крестика!

— Пострадавший ничего не успел сказать? — спросил я.

— Он пробормотал что-то вроде: «Билл... Билл»... Очевидно, это его имя, ведь убийца та женщина. Только у великого писателя Гарриса женщины носят мужские имена. Вы читали его гениальный роман о танцовщице, которой в романе нет?

— Роман Гарриса мне не понравился. Я не люблю этого писателя. — Я отошел от универмага.

Все вдруг приняло облик бреда — дома, автомашины, люди, слова, шумы. А среди этого осуществленного бреда сам я метался одичавшим призраком — сгусток смятения и отчаяния в модном костюме. Я страшился вернуться в отель. Если мне попадется клочок разорванной рукописи, я завою по-собачьи или стану биться лбом о стену.

Это состояние длилось часа три.

— Ладно, старик, — сказал я себе потом. — Конечно, сегодня произошло что-то страшное, но одного такого чуда хватит на всю жизнь. Иди домой, больше чудес не будет.

Однако чудеса в этот день подстерегали меня на каждом шагу.

На малолюдной улице я чуть не столкнулся с молодой женщиной. Женщина показалась знакомой, я поклонился. Она мило кивнула.

Тут я ее узнал. Все в этой женщине принадлежало мне. Я единолично создавал ее с головы до ног. Моей работы были и ее салатно-светлые, чуть косящие глаза, и родинка на левом виске, и припухшие томные губы — над нижней губой я провозился с час, отшлифовывая ее форму и подкрашивая потом синевато-багровой помадой — и тонкая шея, и крепкие руки теннисистки, и широкие плечи, и узкие бедра, такие узкие, что они казались талией, а не бедрами. И она была в том наряде, что я примыслил ей, она не успела переодеться. Я бы узнал ее среди всех женщин мира, ибо был ее отцом и матерью одновременно!

— Простите, — сказал я, холодея. — Вы случайно не Дженни Гиена по прозвищу Змея?

— Друзья иногда зовут меня змейкой, — ответила она, лукаво смеясь. — Но Гиена — фу! Это вульгарно. Извините, я спешу. Я не люблю разговаривать с незнакомыми мужчинами.

Я загородил ей дорогу. Я был вне себя.

— Это я-то вам незнаком? Не ожидал такой наглости! Ну-ка, признавайтесь, что за мерзость вы сотворили возле универмага?

— Мне кажется, вы нездоровы, — сказала она, отодвигаясь. — Может, вызвать врача? Если разрешите, я позвоню...

— Никуда не пущу! — орал я, схватив ее за руку. — И больше не врите, что вы не Гиена, я этого не потерплю!

Она молча вырывалась. У нее исказилось лицо. Мне чудилось, что она собирается укусить меня. Я разжал руки, и она отскочила в сторону. Тяжело дыша, она поправила растрепавшуюся прическу.

— Что ж вы не кричите? — оказал я. — Зовите полицию!

— Обойдемся без полиции. Вы должны меня пустить, Гаррис! Вам не удастся доказать, что я причастна к делу возле универмага. Друзья сумеют меня защитить! Если бы они не торчали сейчас в баре пройдохи Лемюэля, вам не удалось бы так легко меня заграбастать!

— Ваши друзья? — возразил я, зло усмехаясь. — Не те ли, кого я сам придумал? Уверяю вас, Дженни, это ненадежная защита. Шагайте рядом и боже вас оборони оглядываться по сторонам!

— Что вы надумали сделать со мной?

— Ничего сверхъестественного — возвращу в роман. Вот почему так плохо шла последняя страница! Вы, удрав, разорвали сюжетную нить. Я мучился над каждой буквой, а вы подготавливали злодейство!

— Я осуществила лишь то, о чем вы так ярко написали. Отнесись вы к Биллу Корвину по-иному, я не пошла бы на убийство.

— Делаете соучастником своего преступления? Хватит болтовни! Дайте руку и скажите спасибо, что не веду вас в полицию.

— Гаррис! Больше это у вас не выйдет.

Саркастически усмехаясь, я скрестил руки на груди.

— Зрелище для богов! Литературный герой рвется в жизнь! Персонаж из книги гуляет по улице! Да понимаете ли, какую порете чушь?

— Сами вы порете чушь! Глупец! Вы не запретите мне на денек-другой выбраться из переплета! Я не уверена, что вы сами не... По-моему, я вчера видела вас в «Верном Гуигн...» Впрочем, это ваше дело. Гаррис, отпустите меня! Обещаю, что от меня вам больше не...

— Идите! — Я так потянул, что на ней затрещало платье.

Она пронзительно закричала. Мне показалось, будто за спиной промелькнул силуэт, я поспешно обернулся. На мою голову обрушился тяжкий удар. Я повалился на мостовую.

5

Я лежал, обложенный подушками и оплетенный трубками от приборов и склянок. У постели тихо плакала Дороти. В кресле выливался верхней половиной тела за подлокотники Чарльстон. У двери стояли мужчина в халате — очевидно, врач — и наш слуга Патрик, добрый, пожилой ирландец. Дороти, увидев, что я раскрыл глаза, стала осыпать меня поцелуями. Врач положил ей руку на плечо. Она заговорила:

— Ты жив! Благодарение богу, ты жив, Генри!

— Алло, мальчик! — приветствовал мое возвращение к сознанию толстый издатель. — Как вы себя чувствуете, вы меня понимаете? Когда Патрик позвонил, что вас привезли, я сразу же примчался. И, скажу по совести, сам чуть не повалился, такой у вас был вид. Вас отделали под орех, Генри Гаррис, вы меня понимаете?

Я с трудом приподнялся на кровати. Дороти положила мне под спину все подушки. Я обратился к слуге:

— Кто меня привез, Патрик?

— Двое мужчин и женщина, сэр. Они нашли вас на улице и узнали адрес по визитной карточке, которая была в кармане. Эти трое — истинные джентльмены, они так горевали. Женщина утирала слезы.

Я с минуту набирался духу на новый вопрос. Ответ слуги покажет, бред ли то, что мне привиделось, или страшная реальность. Джон, вытаращив глаза, молчал, Дороти тихо всхлипывала, оба ожидали разъяснения, что, собственно, произошло со мной.

— Та сердобольная женщина, Патрик... У нее рыжие волосы и зеленое платье?

— Совершенно верно, сэр. Рыжее платье и зеленые волосы... То есть наоборот! Я хорошо запомнил — зеленое платье. И она очень миловидна, очень! Вы тоже разглядели ее, сэр?

Я снова закрыл глаза. Бред продолжался. Врач в халате походил на призрак, Чарльстон на статую разжиревшего Будды. Дороти была так измучена, что я боялся смотреть на нее. Один Патрик выглядел как обычно — во всяком случае, был по-обычному бестолков.

— Скажите, Патрик... Один из мужчин строен и черноволос?..

— Строен и черноволос! Истинно точные слова! А на щеке темное пятно — наверно, родинка, сэр.

— Нет, это шрам от пули. Второй, Патрик... Он, значит, был?..

— Да, сэр, именно так! Огромный верзила с кривым носом, кривым ртом. Не хотел бы я встретить такого на экране, в фильмах они беспощадно убивают. Но в вашей спальне он держался удивительно достойно.

— Вы сказали, у него один глаз, Патрик?

— Один, сэр. Правого не было, я это сразу увидел. Он глядел одним левым глазом, но очень, очень зорко... Я так и думал, что они ваши знакомые. Женщина сказала, что надеется после выздоровления встретить вас в одном баре, названия я не запомнил. Что-то с фамилией Гулливера, это я помню.

— Больному нельзя так много разговаривать, — сказал врач.

Я попросил разрешения сказать еще несколько слов Джону Чарльстону наедине. Он с усилием подвинул кресло ближе и просипел:

— Ужасное происшествие, вы меня пони..?

Я прервал его:

— Мне нужен доктор, Джон.

— Разве мистер Коллинз?.. Он считается отличным хирургом.

— Я нуждаюсь не в хирурге, а в психиатре.

Он смотрел на меня округленными глазами. Мне было безразлично, что он подумает. Он сказал, запинаясь:

— Я вас понимаю, вы меня понимаете, Генри? Конечно, психиатр. Завтра я вам его доставлю. Можете положиться на Чарльстона.

Джон и врач ушли, Патрика я попросил выйти. Дороти присела на кровать и шептала разные хорошие слова. Она была растрогана от того, что так любит меня. У нее влажно блестели глаза. Она упивалась нежностью ко мне. Она любила себя за то, что любит меня. С каждым ее словом я чувствовал себя все хуже. Нежность ее шла от души, но душа была не своя. В этом противоречии я не мог разобраться. Я понимал, что Дороти неповторима, ни у одной другой женщины волосы не были так мягки, так золотисты, так не пахли, ни одна не смотрела такими яркими глазами, ни у кого не было такой кожи, таких линий, таких плавных движений. Когда Дороти молчала, от ее близости у меня кружилась голова. Она околдовывала, пока молчала. Но едва начинала говорить, очарование пропадало. Она сказала, что это я рождаю в ней все хорошие слова, а я не ощущал их своими.

Я отстранил ее, она встревожилась.

— Я сделала тебе больно, милый? Тебе нехорошо со мной?

— Мне хорошо с тобой. Но хочу отдохнуть.

Она тоже ушла и прислала сиделку. Та стала поправлять трубочки и накачивать в меня лекарства. Я приказал снять все трубочки и спровадил сиделку. Уходя, она отворила окно. Город сверкал рекламами, снаружи вспыхивало, как от молний. Жизнь города доносилась на наш семнадцатый этаж смутным гулом. Я с трудом встал и подошел к окну, мне почудилось, будто в небе сияют звезды. Но это сияли верхние этажи небоскреба Гольдшайс, того самого, где совершилось мерзкое убийство. Я возвратился в кровать.

— Давай рассуждать, Генри, — предложил я себе. — И поменьше эмоций, побольше логики!

Я начал с фактов. Факты могли потрясти даже слона. Литературный персонаж бегает по городу и нападает с кинжалом на людей. Что Дженни Гиена убийца, не так уж и удивительно. Чем еще заниматься ей, как не убивать, если уж она вырвалась с книжных страниц на тротуар? Я вспомнил мудрое изречение: если вы слушаете говорящую лошадь, не удивляйтесь смыслу ее речи, гораздо удивительнее то, что лошадь разговаривает. Удивительное во всей этой истории лишь то, что литературные создания стали реальными людьми. Реальность их доказывает не только смерть Билла Корвина, но и то, что меня измордовали, да и старый Патрик ни минуты не усомнился, что притащившие меня незнакомцы натуральные люди. Били меня не призрачно, об этом твердила каждая косточка.

— Лэмюэль! — говорил я. — Эта бестия Дженни твердила, что ее друзья торчат в баре старого Лэмюэля. А Патрик вспоминает о баре какого-то Гулливера. Итак, Лэмюэль Гулливер. И бар называется «Верный гуигнгнм». Неужели и Гулливер тоже выпрыгнул из книги в реальную жизнь! Кто бы мог этого ожидать от знаменитого доктора и мореплавателя? Знался с лилипутами и великанами, открыл благороднейших лошадей, а кончил тем, что подает коктейли! И в это поверить?

Так я разговаривал с собой взволнованно и бессвязно. Логическое рассуждение не получалось. Мир двигался на голове, было не до рассуждений. Вскоре вернулась Дороти. Она молча присела рядом, осторожно обняла меня. Молчавшая, она уже не казалась мне невероятной. Я был так благодарен за молчание, что стал ее целовать.

6

Врач, которого привел Чарльстон, удивил меня фамилией.

— Луис Боберман-Пинч, — торжественно объявил толстый издатель. — И если это не самый глубокий знаток человеческого ума на всех трех континентах, то можете плюнуть мне в глаза, вы меня понимаете!

— Не ума, а безумия, — весело поправил Боберман-Пинч. — Это не одно и то же — ум и безумие, хотя связь у них есть, никогда не отрицал ее. Мои критики твердят, что я отдаю примат безумию, а не разуму, но они просто не хотят понять очевидности: безумие шире, глубже, всесторонней, блестящей разума, вот единственное, на чем я настаиваю!

— Шире, глубже, всесторонней, блестящей?..

— Конечно! — восторженно воскликнул он. — Вам, знаменитому писателю, это должно быть ясно! Что такое ум сравнительно с безумием? Ограниченность и примитив! Вдумайтесь, Гаррис. О любой вещи можно сказать только одну правду, ибо каждая вещь существует лишь единственным образом. Вон тот чемодан из фибры, такова сухая, узкая, скучная истина. Разум доискивается истины, это его служебная функция. И вот всей мощью своего огромного, своего несравненного ума вы можете только установить, что чемодан фибровый, на большее вас не хватит. А как солгать о чемодане? Миллионами способов, одна ложь ярче другой. Чемодан деревянный, железный, гранитный, золотой, бриллиантовый, не чемодан, а кукла, живой слон, детеныш кита, ваш спящий друг, марсианин, проникший в отель... Возможности лжи безграничны! А что такое безумие? Умение все извращать, искусство воображать мир в его фантастической невозможности. Так что же шире? Что глубже? Что, я такого слова не побоюсь, восхитительней?

Я перевел взгляд с Бобермана-Пинча на издателя. Джон так кивал головой, словно речь врача лила бальзам на какие-то его раны.

— И вы лечите от безумия? — осторожно поинтересовался я.

— Именно! С вашего разрешения, член Национальной Академии Наук, член Лондонского Королевского общества... Могу назвать одиннадцать академий, осчастливленных тем, что я согласился стать их членом. Уже не говорю, Гаррис, о премиях Нобеля и Нанги-Банга. Научные премии — это пройденный этап, не будем упоминать о них. Что поделаешь, нужно зарабатывать на кусок хлеба. Моя жена считает, что иметь дома меньше десяти слуг некрасиво, приходится считаться с ее капризами. И я отдал свое знание безумия, свое восхищение перед многообразием его форм на то, чтобы избавлять от него. Истинное величие начинается с того, что ограничиваешь себя, сказал один немецкий философ, безумец, которого по этой причине считают гением. Итак, Гаррис, что вас раздражает? Что вас поражает?

Я сделал знак Чарльстону. Он поспешно вытянул свое тело из кресла. На это ему понадобилось около минуты. Мы с врачом молчали, пока издатель боролся с креслом.

— Вечером я приеду, — сказал Джон. — Можете не волноваться, Генри, я не оставлю вас без присмотра, вы меня понимаете?

Боберман-Пинч снова спросил, что меня поражает. Я признался, что меня поражает его фамилия. Он отнесся к этому одобрительно. Он гордился своей несколько собачьей фамилией. Доберман-пинчеры ведут свое происхождение от его предков, оказал он. Впрочем, не сами собаки, только их название. Его прапрадед Чарльз Доберман-Пинчер вывел новую породу собак, и их стали сперва называть псами Доберман-Пинчера, а потом просто доберман-пинчерами. Прадеду пришлось изменить фамилию Доберман-Пинчер на Боберман-Пинч, чтобы его не путали с псами. В книгах о доберман-пинчерах происхождение их описывается по-иному, но это ложь — и потому ей верят. Ложь правдоподобней правды, он в своих книгах доказывает это на тысячах примеров.

— Если так, то безумие естественней ума, — сказал я.

Мое замечание привело его в восторг. Он радостно размахивал правой рукой перед моим носом. Я думал, что он будет меня выстукивать и выслушивать, щупать пульс, заворачивать веки, просить показать язык, но он объявил, что лечит без шаманства.

— Человек — это слово! — воскликнул он. — Он выражает себя при помощи слова — любит, ненавидит, командует, подчиняется, исполняет, ослушивается, высказывает свое настроение, свои взгляды, свои желания, свои упования... Болезни психики это раньше всего болезни словотворчества. Итак, что мучит ваше слово?

Пока он говорил, я рассматривал его. Он был высок, худ, темнокож, черноволос. И у него были такие глубокие, такие яркие глаза, они так вспыхивали, когда он поворачивал лицо к собеседнику, что становилось не по себе. К тому же он чрезмерно жестикулировал. Если бы сказали, что он сбежал из психиатрической клиники, я бы не удивился. Общение с больными кладет печать и на здоровых, думал я.

— На меня напали привидения, — сказал я. — Призраки нанесли мне увечья.

— Замечательно! Никогда не слыхал более впечатляющей лжи! Продолжайте, я слушаю вас с восхищением.

— Дело в том, доктор, что мои злоумышленники не реальные люди, а литературные герои. Я их придумал. Они мои создания. И существуют только в написанной мной книге.

— Упоительно! Детище, поднявшее руку на своего создателя! Что может быть прекрасней? Отделали они вас, между прочим, отнюдь не призрачно. И сколько помню, несчастье с вами произошло не на книжной странице, а на какой-то улице. Я правильно понял?

— Совершенно правильно. И это-то меня и смущает!

— Расскажите подробней об этом занимательном происшествии.

Я рассказывал, он требовал уточнений и дополнений. Временами он впадал в такое возбуждение, словно несчастье совершилось с ним самим. Он пожалел, что не был участником происшествия, хотелось бы на себе оценить меру призрачности преступников. Потом он объявил приговор, так он назвал свое медицинское заключение. Он предупредил, что эмоции не командуют его анализом. У постели больного он человек науки и не позволит себе отойти от хоть и скучной, но добросовестной реальности. Он не из тех, кто предает серую правду ради пленительного обмана, в этом смысле я могу на него положиться.

Диагноз его показался мне невероятным.

Он категорически отверг версию призраков. На меня напали реальные люди. Мне были нанесены реальные увечья. Чудовищно усомниться в фактах. Никакой загадки нет, он объявляет это открыто и торжественно. Не было литературных героев. Я ввел в роман реальных людей, лишь вообразив, что становлюсь их первосоздателем. Его, профессора Луиса Боберман-Пинча, считают великим скептиком, ибо, приступая к запутанной проблеме, он всегда спрашивает себя, а существует ли вообще эта проблема? И вот он утверждает, что еще не было книги столь пронзительно правдивой, как «Танцовщица Чарльз Доппер». Она полна суровой реальностью! Он читал мой роман трижды, и каждый раз его поражало, что среди тысячи вариантов яркой лжи, являвшихся моему воображению, я выбрал единственную правду, сумел отыскать ее в ворохе выдумок, сумел извлечь из ветошной горы фантазий, сумел неприкрытую, бедную, сухую показать читателям! Отказом от фантастических сюжетов я, конечно, обеднил повествование, но обеднение сюжета компенсируется тем, что я совершил нравственный и художественный подвиг, этот подвиг вывел меня в ряд величайших писателей, нет, он, Луис Бобер...

— Но ведь я никого из героев раньше не встречал! — в смятении прервал я его бурную речь. — Я не знал их до того, как выдумал!

Он сверкнул глазами, нетерпеливо махнул рукой. Обычное заблуждение писателя, воображающего, что он создает до него небывшее. К сожалению, каждый писатель нуждается в услугах психиатра. Возможно, впрочем, что если бы за литераторов взялись врачи, то сама литература была бы уничтожена. Форма моего литературного безумия ему ясна. Я фотографировал реальный мир, но вообразил, что придумываю его. Зеркало окружающего, я тщеславно вообразил себя первотворцем. И этим лишь принижаю свое истинное значение. Выдумывать, то есть лгать, путь плодотворный, но не подвиг, ибо всего проще лгать. Он доказал уже, что ложь — копна соломы, таящая одну-единственную иголку — правду. Я извлек иголку из стога соломы, и сумел справиться с такой дьявольски трудной задачей, он не перестает удивляться моему мастерству!

— Но тогда объясните, каким образом неизвестные мне люди проникли на страницы моей книги, — опять прервал его я.

Этого он объяснить не мог. Безумие, называемое художественным творчеством, до конца не исследовано. Загадок тысячи, решение их оставим будущим поколениям. Когда-нибудь человечество найдет надежные методы лечения от художественного творчества, но он гарантирует, что это будет не завтра.

Я так устал от его торжествующей, громкой речи, что не захотел спорить.

— Вы, стало быть, считаете, что на меня напали реальные прототипы моих выдуманных персонажей?

— Вы напрасно так резко различаете эти понятия: прототипы и персонажи. Уверяю вас, различие не столь принципиально.

— И реально существует таинственный бар «Верный гуигнгнм», где собираются эти призраки?.. Я хочу сказать, эти реальные люди, неизвестно как воплотившиеся в литературных героях?

— Не сомневаюсь.

— И я смогу отыскать этот бар и его посетителей?

— Бар Лэмюэля Гулливера та же иголка в стоге сена. Вы уже показали несравненное умение в ворошении сена жизни...

Я спросил напрямик:

— Я почувствовал себя безумным и поэтому пригласил вас. Вы подтверждаете мою ненормальность?

Он радостно кивнул головой.

— Полностью подтверждаю!

— Повторите вкратце, в чем вы ее увидели. Вы высказали так много соображений, что я запутался. Вам это будет нетрудно?

— Нисколько. Ваша ненормальность в том, что вы сверхъестественно нормальны. Нормальность — редчайшее свойство, почти все люди на чем-нибудь да свихнулись. Вы нормальны сверх всякой нормы, только один среди миллионов может стать здесь вашим соперником.

— Иначе говоря, мое безумие?..

— Совершенно верно. Оно в том, что, величайший изобразитель реальной жизни, вы вообразили себя фантазером. Вы потеряли ощущение реальности, столь полно выраженной в вашем великом романе.

— Вы беретесь вылечить меня?

— Я могу вас вылечить. Но, боюсь, что излечение Гарриса от иллюзий станет равнозначно излечению его от таланта. Я подписчик ваших сочинений и не хотел бы, чтобы они ограничились одним томом.

7

Вечером меня посетил Джон со своим внуком. Перси стал рыться в книжном шкафу, а Патрик придвинул для Джона кресло к кровати. Я хотел было встать, но Дороти так нежно упрашивала меня болеть по всем требованиям медицины, что я не мог ослушаться.

Джон поинтересовался, понравился ли мне Боберман-Пинч и его рецепты?

— Боберман-Пинч человек замечательный, — осторожно ответил я. — Не сомневаюсь, он крупный ученый. Мне только показалось нелогичным, что он начал с восхваления безумия как ложного понимания мира... А кончил тем, что нашел во мне правдоискателя и объявил правдивость моим специфическим безумием, и отказался лечить, чтобы лечение не повредило таланту. По-моему, начало с концом как-то не вяжется.

— Вы уловили суть! — восторженно объявил издатель журнала «Голова всмятку» — Просто удивительно, как быстро вы раскусили Бобермана. Он выдающийся ученый, вы меня понимаете. Его сила в том, что он всегда отрицает то, что утверждает. Сколько раз он излечивал безнадежно больных одним тем, что отказывался их лечить. Вижу, к вам он тоже применил этот эффективный метод. Можете отныне считать себя здоровым. Игнорируйте болезнь — и дело ваше в шляпе.

— А если болезнь не согласится игнорировать меня?

— Это второстепенно, как к вам относится болезнь. Важно лишь ваше отношение к ней. Раз вы отказываетесь считать себя больным, значит, вы здоровы, вы меня понимаете?

Перси вынимал одну книгу за другой, перелистывал, ставил снова на место. Хорошенький подросток лет тринадцати, он был одет в замысловатый костюм — какая-то смесь из одеяний испанского идальго и американского ковбоя. Впрочем, наряд шел к нему. Мне нравилось, как он берет книги в руки — увлеченно и опасливо, книга казалась ему как бы восхитительным, но ненадежным зверьком, от такого ожидаешь и радости и худа. Он изредка поворачивал к нам умное лицо — полное, румяное, немного наивное, но с проницательными глазами. Я решил про себя, что из мальчишки выйдет толк. Парни этого сорта становятся профессорами и агрономами. На них, если хорошенько взнуздать, можно скакать, не опасаясь свалиться на обочину.

— Перси страшно любит книги, — сказал Чарльстон, понизив голос, чтобы внук не услыхал. — Он так жадно глотает их, что каждая основательно уменьшается в объеме, когда он возвращает ее на полку. И он любит их перечитывать. После трех-четырех перечитываний от книг остается один переплет. Переплетами он не интересуется.

— Вы ему давали мой роман, Джон?

Чарльстон смущается не часто, а когда выпадает такой случай, весь багровеет. Мой вопрос вызвал прилив крови к его лицу. Он закашлялся, вытер толстые губы платком, шумно дышал.

— Видите ли, Генри. Вы, конечно, гений, вы меня понимаете? Ваш роман — концентрированное выражение, абсолютное воплощение... В общем, шедевр. Вы сегодня у всех на языке, Генри. Осмелюсь надеяться, я тоже сыграл некоторую роль в создании вам популярности... Нет, Генри, я не давал вашей книги Перси. И, скажу по чести, не дам!

Я так удивился, что даже не обиделся.

— Посмотрите на него, Генри, — жарко шептал издатель. — Что он знает? Что умеет? Что видел? Подумайте, как узок его мирок, как скудны чувства. Он весь в своем окружении, в идиллическом островочке спокойствия среди бушующего моря. Имею ли я право бросать его в бурные волны нереальности, в ту трагическую фантасмагорию?.. Нет, я не дал ему вашего замечательного романа!

— Вы сказали — бурные волны нереальности?

Он поспешно поправился, но не скажу, чтобы удачно — сложность некоторых понятий превосходила возможности обыденного языка.

— Вы меня не поняли, Гаррис. Я не отрицаю реальности нереального, у меня и мысли не было о таком абсурде. Наоборот, я всегда считал, что единственно реально захватывающее... в общем, вы меня понимаете, единственно серьезное — это то, о чем человек в испуге восклицает: «Не может быть!» Нереальность — это реальный удар молотком по голове на спокойной дороге. Кто осмелится утверждать, что молотком не бьют, покажите мне такого скептика, Гаррис! Так вот, нереальность это концентрат реальности, это сгусток, это... Короче, литература! И потому литература жизненней самой жизни. И высший мастер этой литературы космическо-ядерного века — вы, Генри. И чтобы до поры уберечь моего внука от ужасов жизни, я должен уберечь его от вашей книги. И это свидетельствует не о плохом к вам отношении, а о глубочайшем уважении, о вере в ваш талант, о понимании вашего гения. Надеюсь, вы не обиделись, Генри, вы меня понимаете?

— Я чувствую себя польщенным, Джон. — Я закрыл глаза. Откровенное, хотя и путаное, признание Чарльстона утомило меня.

Вечером я сел у окна. В городе творилась обычная вакханалия света и цвета. Город то ослепляюще озарялся, то тускнел. Демоны реклам бежали по крышам, карабкались по фасадам. В комнату вошла Дороти и молча присела рядом. За дни моей болезни она научилась молчать, я радовался этому. Потом она прижималась — и опять говорила: ласкаться и не говорить она не могла. Слова, сопровождавшие ласки, раздражали меня. В них все было сто тысяч лет мне знакомо! Если, и вправду, я их рождал у нее, то я рождал плохого ребенка, он был не мой, он был общий — стертый, бледный, тусклый, безликий...

Ночью я думал о городе, который шумел и сверкал за окнами. Где-то в нем удивительный бар «Верный гуигнгнм» Лэмюэля Гулливера.

— Я найду его, — шептал я себе. — Я найду его.

8

Мне фантастически повезло. Я повстречал Дон Кихота. Был вечер, и не очень хороший вечер, шел дождь, начиналась буря, а человек этот, Дон Кихот, сторожил у калитки в сад, где почти человеческими голосами вопили темные деревья. Я остановился. Сторож вытянул длинную, худую шею, я не видел лица, но понимал, что старик настороженно всматривается в меня, чем-то я встревожил этого долговязого охранителя входа в сад.

— Какой злой ветер! — сказал я. — Между прочим, я вас знаю.

Он покачал головой, протянул руку, словно предлагая мне пройти мимо. На морщинистой руке блестели капли, это была крепкая рука, могучая и добрая, от нее нельзя было ждать зла.

— Мы незнакомы, — сказал он глуховатым басом. — Будьте здоровы.

— Нет, — ответил я. — Я не уйду. И неважно, что вы меня не знаете. Я вас знаю, это важней. Я видел вас в любимой книге моего детства. На вас были тогда шлем и кольчуга.

— Панцирь. Впрочем, каждый художник по-своему изображал...

— Я ищу питейное заведение Лэмюэля Гулливера, — сказал я. — Знаете, «Верный Гуигнгнм»? Не могли бы помочь мне?

Он заколебался.

— Если бы знать, кто вы... Сколько написано...

Я был в приступе вдохновения. Я знал, что любая ложь сойдет мне с рук. В мире, куда я попал, реально было одно нереальное — безумный доктор Боберман-Пинч мог назвать этот мир своим.

— Я из новой книги. Автор — Генри Гаррис, эдакий модный писака. Не могу похвалиться, что он создал меня столь же пристойным, как Мигель Сервантес вас. Нет, куда мне! Зовут Билл Корвин, неудачник, на сто четырнадцатой странице убит, а до того промышлял... Впрочем, хвастаться нечем: три части, сорок четыре преступления, двадцать одно убийство. В общем, конвейерное производство романов, такова методика Гарриса, он ведь ученик Беллингворса.

Он сказал со вздохом:

— Ручная работа прежних творцов была рельефней. Я в современной одежде, но вы меня сразу признали. А создания Беллингворса к нам захаживают, Джон Недотрога недавно устроил скандал, столько перебито посуды!.. А потом затерялся в толпе. Между прочим, меня теперь зовут Дунс Кехада, неудобно пользоваться известной фамилией. Многие смеются, услышав: Дон Кихот!

— А где ваш слуга Санчо Пансо?

— Сан Чопано? Я два года работал на его кожевенном заводе. Вчера он отпраздновал выход из тюрьмы Каина Адамяна и перебрал... В наше время коньяков не пили.

— Вы сказали: Каин Адамян?.. Неужели его засадили?

— А вы не знали? Об этой истории писали в газетах.

— Я читаю лишь «Ежедневного убийцу» — там не было.

— До убийства не дошло. Но если вдуматься... Два брата, Каин и Авель Адамяны, — неплохие коммерсанты. И вот Каин подделывает вексель младшего брата, а того доводят до разорения. Их мать Ева, чудесная старушка, умерла от огорчения, у бедняги Авеля сердечный приступ, через два месяца тоже скончался, а бандита Каина упрятали на пять лет. Так расправиться с братом!

— Раньше он разбивал брату голову топором, а не подделывал векселя. Все-таки цивилизовались преступления! Так вы поможете мне отыскать бар старика Гулливера? Так хочется посидеть среди своих, поесть ирландских пирожков!

— Пирожки с мясом и зеленью прославили Лэмюэля, — с чувством сказал старик. — Он устроился лучше нас всех, надо признать. Впрочем, неудивительно — столько вытерпел, в стольких странах побывал, и из каждой кое-что вынес ценного, не так ли? Кстати, почему вы говорите бар? Я бы назвал заведение клубом, там и ресторан, и комнаты отдыха.

— Тем более вы понимаете мое нетерпение, дорогой Дунс Кехада. К тому же портится погода, а где найти пристанище недавно выпущенному в свет человеку?

Жалоба на погоду была удачным ходом. Полил холодный дождь, ветер бил брызгами, как свинцовой дробью. Старик согнулся, запахнул старенький плащ. Человеку, взращенному на знойных холмах Ламанчи, не мог быть по душе наш климат. Он должен был посочувствовать бездомному бродяге. Он торжественно объявил:

— Вы неплохой человек, Билл Корвин. Удивительно, что в современном произведении, да еще пользующемся успехом... Входите в эту дверь, друг мой. Непогрешимый литературный инстинкт привел вас в место, какое искали: я сторож клуба «Верный гуигнгнм» доктора Лемюэля Гулливера. Не поскользнитесь, ступеньки мокрые!

9

Сперва было огромное помещение с теряющимся в полусумраке потолком: мне показалось даже, что потолка нет, а над исполинским залом нависает небо, но то было все же не небо, а потолок, похожий на небеса. Вдоль стен тянулись шкафы, такие высокие, что я видел лишь нижние полки, верхние пропадали в полутьме. И во всех шкафах были книги, миллионы книг, гигантские, в полный лист, и миниатюрные, с наперсток, серые, темные, золотые, красные, сжигающе оранжевые, пронзительно зеленые и синие... Зал был пуст и темен: ни столов, ни кресел, ни лесенок, чтобы доставать книги с полок, ни света для чтения. В недоумении, я оглядывался. Зачем ввели меня в это книгохранилище? Куда идти? Мне стало страшно в этом безмерном мире книг: я не мог сделать и шага.

Вдруг вспыхнуло в углу. Ко мне шла женщина в мягкой тунике, одежде древних. Она освещалась не светом со стороны, а сама сияла, ее обрисовывал собственный свет. Я знал ее, но не помнил, как ее зовут. И стройная фигура, и золотистые вьющиеся волосы, и самосветящиеся зеленые глаза, и протянутая ко мне рука, совершенная рука богини, а не смертной — все это было так знакомо, словно я тысячи раз встречался с ней.

— Привет тебе, герой! — сказала женщина, голос ее, глубокий, звучный, донесся звоном серебряных колокольчиков. — Ты из новой книги, правда? Меня зовут Ариадна. Я проведу тебя к собратьям! Твое имя, герой? Твоя профессия? Откуда ты?

— Билл... Билл Корвин, — пробормотал я, запинаясь. — Меня сочинил Гаррис, плохой писатель, не отрицаю, но им так увлекаются... И вообще я... гангстер... Но очень добрый, очень... Мой шеф приводит в исполнение только один из десяти договоров на убийство, только один из десяти, клянусь!.. Мы великодушны.

Сияние величественной Ариадны немного потускнело.

— Не мне обсуждать профессии современных героев, добрый убийца. Следуй за мной, Билл Корвин, великодушный гангстер. Ты шагаешь сейчас мимо всех литературных творений, созданных человечеством. Кланяйся своим предшественникам, Билл Корвин, частичка каждого из них в тебе, хоть ты и мало похож на своих знаменитых предков.

10

Зал, куда ввела меня Ариадна, напоминал ресторан среднего разряда. За столиками беседовали и горланили, закусывали и выпивали. И это было необыкновенно разношерстное скопище, все эти гости Лэмюэля Гулливера. Я привык, что любое заведение имеет свой стиль, свой образ посетителей: в портовой таверне — рабочие и бродяги, в тайном уголке на окраине — пьяницы и наркоманы, воры и проститутки, в Уолдорф Астории — дипломаты и короли, бизнесмены и министры. А здесь, как в Ноевом Ковчеге, каждой твари было по паре. И одного взгляда хватило, чтобы понять, что я среди знакомых. Если фамилии сразу не припоминались, то облик был известен.

Я торопливо прошел между столиками, высматривая свободное местечко: не хотелось привлекать к себе внимания. В уголке сидели три толстяка, четвертый стул был свободен. У одного была длинная седая борода. Он смотрел воинственно и надменно. Второй, мощнотелый, выглядел пьяницей. Третий мне понравился — невысокий, округлый, с приятным и добрым лицом. Я сказал, что меня зовут Корвин, я из нового романа, нельзя ли составить компанию героям знаменитых книг?

— Садитесь, Корвин, — разрешил тот, что выглядел подобрей. — Я, Сэмюэль Пиквик, к вашим услугам. Этот стул обычно занимает пан Заглоба, но его сегодня почему-то нет.

— Джон Фальстаф, — проворчал надменный. — И хорошо, что нет. Заглоба действует мне на нервы. Не люблю, если кто врет больше меня.

— Аббат Горанфло, — представился пьяница. — Просите пива, Корвин. Скряга Лэмюэль подмешивает химию в виноградный сок и называет свое пойло марочным вином. Ужас и смех! Надуть меня, определяющего с первого стакана, какое я пью вино из ста восьмидесяти трех сортов французских вин, а со второго и третьего, сколько вину лет и рос ли виноград на северном или на южном склоне. Хорошее вино можно вкусить лишь у бармена Шико, но до его лавчонки далеко.

— Рад встретиться с вами не на страницах, а за столиком, друзья, — сказал я. — Я ваш поклонник. Ваши ратные подвиги и успех у прекрасных дам, Джон Фальстаф, всегда приводили меня в восхищение.

— Надеюсь, что так, — проворчал он. — Не собираетесь ли вы по этому поводу накачать меня до упоя?

— Заказывайте! Случайно я при деньгах.

— Гаврош! — рявкнул Горанфло. К нам подлетел мальчик-официант. — Дюжину пива и четыре порции сосисок — живо!

— Вы еще не оплатили прошлый заказ, — возразил мальчик. — Ищите дураков в другом месте, я не из тех, на ком скачут верхом.

— Не тревожьтесь, я плачу, — сказал я, и Гаврош умчался.

— Напрасно вы так вежливы с этим сорванцом, — посетовал Фальстаф. — Выдрать бы его за грубость, а уж потом объяснить, кто платит.

К нам подошел Заглоба, одноглазый, седой, довольно подвижный для своих лет. Пиквик привстал, здороваясь, Фальстаф отвернулся. Я хотел уступить занятый стул, но Горанфло не дал — возможно, побаивался, что некому будет оплачивать заказ, если я уйду. Заглоба поинтересовался, не попадались ли нам его приятели пан Володиевский и пан Подбипента, а также Богдан Хмельницкий, крымский хан Гирей и шведский король Густав, те трое, хоть и не литературные герои, но тоже большие его друзья. Ни одного соседи не видели, и Заглоба убрался в другой конец зала. Я спросил о четверке у соседнего столика.

— Один, несомненно, Рокамболь, другой Вотрен, третий Шерлок Холмс. А четвертый? Я говорю вон о том, хмуром.

— Жавер, — сказал Горанфло. — Вон уж кого не терплю! Даже среди моих монахов не было такого постника. И зачем его ввели в литературу?

— Странная компанийка! Рокамболь с Холмсом, Вотрен с Жавером.

— Очень солидная компания! — засияв доброжелательной улыбкой, подхватил Пиквик. — По слухам, к ним скоро присоединятся патер Браун, комиссар Мэгре и Эркюль Пуаро. Такое мощное объединение детективов, будем надеяться, сумеет устоять против самого Джека Недотроги из романов Беллингворса.

— Сомневаюсь, — проворчал Фальстаф, прихлебывая пенистый напиток. — Сколько этих рыцарей детектива? И сколько Джеков? Хо-хо! Никто не заподозрит меня в трусости, но и я сто раз подумал бы, прежде чем двинуться на орду Беллингворса...

Мои соседи мирно потягивали пиво, мирно беседовали, я изредка вставлял реплики. Они, я понимал, не знали, кто я литературно, тем более — реально, я мог надеяться что и другие меня не признают. И я осторожно осматривался, стараясь определить, кто есть кто, и чем все эти знаменитости заняты в клубе «Верный гуигнгнм»?

За столиком, по другую сторону от нас, я увидел новую четверку знакомых: финансисты Каупервуд и Акула Додсон чокались с жуликами Джинглем и Джеффом Питерсом. Подальше Гамлет с Пьером Безуховым громко спорили с Жеромом Куаньяром, а четвертый, веселый старик Кола Брюньон вторил им раскатистым хохотом. Там же Шейлок о чем-то договаривался с Гобсеком, клятвенно призывая в арбитры французского банкира Нюсингена и русского помещика Плюшкина. Нарядный Онегин болтал около площадки оркестра с принцем Гарри, в их разговор вторгался лорд Генри — и, похоже, острил, все трое смеялись. Три милые дамы, Лаура, Офелия и Маргарита, с интересом слушали рассказы знаменитых путешественников, Мелмота-Скитальца, Агасфера и золотоискателя Мелмута Кида, великие бродяги перебивали друг друга, каждому не терпелось поделиться своими приключениями. Мальчишки Оливер Твист и Гекльберри Финн не отрывали от путешественников по земле и во времени зачарованных глаз. Рослый король Лир, возвышавшийся над стойкой, как божок, величественно разливал пиво, и добрый десяток официантов — среди них я заметил, кроме Гавроша, еще Фигаро и Сганареля, Труффальдино и Конселя — разносили кружки по столикам. На площадке играли на рояле и скрипке Леверкюн и Нагель, а Вертер с Беатриче пели.

По ковровой дорожке прогуливались пары. Я узнал капитанов Немо и Гаттераса, оба вышагивали так, словно отрабатывали вахту на параде, впрочем, это ни у кого не привлекало внимания. Не вызвала интереса и вторая пара — Робинзон Крузо с капитаном «Летучего голландца», хотя живописные лохмотья обоих, и особенно мрачный череп мертвеца у капитана призрачного корабля, заслуживали большего, чем равнодушный взгляд. Зато пара проходимцев — Панург и Остап Бендер — заставила всех повернуться, они прошли, приветственно помахивая руками, рассыпая улыбки и поклоны: эти двое явно всем нравились.

И хоть я всюду встречал знакомые лица, во мне постепенно вырастало новое ощущение: большинство горланивших и прогуливающихся по залу, и особенно столпившихся у бара, были мне неизвестны. Всех этих ярких прославленных фигур, дворян и князей, знаменитых мошенников и пронырливых дельцов, забивала масса безликих, тупых, приглушенно серых.

Я осторожно заговорил об этом с соседями по столу.

— А чего вы хотите? — возразил Фальстаф. — Неизвестные ныне в силе. Сами вы, например?

— О, я из недавно вышедшей книги. Правда, готовится новый тираж — сразу два миллиона экземпляров...

— Не уверен, что это хорошая рекомендация — большой тираж.

— К сожалению, комиксы забивают классику, — со вздохом подтвердил Пиквик. — Дрянь одолела шедевры. Персонажи из комиксов заседают в парламенте, вершат в деловом мире, подмяли искусство. А что остается нам? Прежние исполины служат официантами, подметают улицы.

— Нас забыли, — прогудел Фальстаф. — Король Лир жил во дворце, а сегодня его не пускают даже в пещеру Лейхтвейса. Кто мы? Что мы? Вертер с Беатриче поют в баре, Евридика с Еленой нанялись в стриптиз, Дон Жуан с Карлом Моором трудятся на почте, Робинзон Крузо открыл крохотное меховое ателье и прогорает, бедняга, Фиеско преподает гимнастику, Медея, великая Медея, еле устроилась воспитательницей в детский сад! Я уже не говорю об Орфее, его столько раз вышибали из джазов за неспособность к музыке! А я, прославленный Джон Фальстаф, служу в банке швейцаром — у меня седая борода, это нравится хозяевам. Они тоже из комиксов, мои хозяева, но бород им не дали.

— Мой друг Панург обратился недавно к оракулу Божественной Бутылки, — сообщил, улыбаясь, Горанфло. — Оракул возвестил, что скоро отменят книги. Цивилизация превратится в телевизацию. В телевизионном мире незачем читать. А пить будут больше, это все же утешает.

— Как бы я поработал кулаками среди телевизионного сброда! — прорычал Фальстаф. — Вон тот, круглоликий, патлы под битлов, студентик из племени бао-бао. Не уверен, что он уже произошел от обезьяны. Или эта убогая богиня с двумя внебрачными мужьями под ручку. Артисты из певческого заведения Джона Флинта.

В зал входили все новые посетители. Среди них был и тот нагловатый парень с плечами штангиста-тяжеловеса, который, по Фальстафу, еще не успел превратиться из обезьяны в человека, и змеефигурная дама, подкрашенная радиоактивными красками — она поводила пылающими глазами, как фарами. Появились две женщины — бледные, стройные, с такими строгими лицами, что дух захватывало. Горанфло прошептал, что клуб удостоили визитом Медея с Электрой, дочерью Агамемнона, такие удачи выпадают нечасто, надо бы выпить по этому случаю. Прихлебывая пиво, я рассматривал непрерывно прибывающих гостей. Две красивые и изящные пары — граф Фиеско с Эдмондом Дантесом и Антигона с Сольвейг прошли так близко, что пахнуло ароматом дорогих арабских трав. За ними проследовали улыбчивый Пер Гюнт и задумчивый лейтенант Глан, внешне они различались сильно, но было в них что-то пленительно единое, я привстал и поклонился им, как добрым знакомым. Глан рассеянно поглядел, а забулдыга Пер так дружелюбно ухмыльнулся, что у меня стало светлей на душе.

Новая группа гостей заставила меня поспешно отвернуться. Харя Джексон, Том Тапкинс и Дженни Гиена прошли в дальний угол и исчезли там в табачном дыму среди пальм в кадках.

— Скажи, почему наш сторож Дон Кихот назвался Дунсом Кехадой? Разве у него две фамилии? — спросил я Фальстафа.

— А разве вы в жизни тоже Корвин?

— Да.

— Вам можно, вы все же не классик. А мы прячемся под псевдонимами. Только в клубе старины Гулливера никто не скрывается.

Неподалеку внезапно разгорелся скандал. На шум поперли любопытные. Из буфетной двери выскочил хозяин. Я наконец увидел Гулливера в жизни, а не на книжной странице. Он был в пиджаке, а не в камзоле, и без парика и шпаги. Худое лицо Гулливера перекосилось от страха. Он кинулся к месту ссоры.

— Послушайте, Джек! — лепетал он. — Успокойтесь, молю вас.

Я увидел красивого мавра средних лет, на которого наступал громила с кулаками в футбольный мяч.

— Негр! — ревел громила. — До Джека Недотроги дотронулся паршивый негр! И белым это не проходит даром, а негру — смерть!

Из толпы выступил человек в одежде пастора и взял громилу под руку. Тот обернул к священнику бешеное лицо и рявкнул:

— Еще чего? Вы кто такой?

— Я пастор Браун. И я хочу сообщить вам, дорогой друг, что вы ошиблись. Этот человек — знаменитый адмирал Отелло. Можете мне поверить, я детектив-любитель и много распутывал трудных загадок.

Громила заорал на пастора Брауна:

— Убирайтесь, вы, драный плащ! Чтобы разглядеть негра, мне не нужно помощи детектива. Он дотронулся до меня, когда я проходил мимо. Дотронулся, можете вы это понять, сюсюка в сутане!

— Вы просто слишком пошатывались, — спокойно сказал Отелло.

На Джека Недотрогу все же произвело впечатление громкое имя Отелло, и он убавил тон. Но в ссору вмешались еще двое — толстенький коротышка в дорогом костюме и представительный мужчина с глазами профессионального убийцы. Я узнал обоих. Добром их появление кончиться не могло. Коротышка властно тронул Отелло за плечо.

— Я Ник Картер. Надеюсь, вам это кое-что говорит? Проследуйте за мной, Отелло. Надо выяснить, как вы пробрались сюда. Очевидно, у вас немало сообщников среди издателей.

Отелло скрестил руки на груди.

— Я здесь по праву классика. А на насилие сумею ответить.

Спутник Ника Картера улыбнулся. Зловещая ухмылка означала приговор.

— Я Джеймс Бонд, Отелло. Стреляю без промаха. Из уважения к вашей известности, адмирал, даю вам три минуты, чтобы убраться из этого зала и литературы.

Снова взорвался потускневший было Джек Недотрога:

— С негром разговаривать? Коленкой его под зад — и точка!

— Не спешите, приятель! — воскликнул подоспевший Карл Моор. — Найдутся люди, которые не позволят глумиться над невинными.

К Моору присоединились Гамлет и Пьер Безухов. Джеймс Бонд, улыбаясь еще зловещей, сунул руку в карман, но не стал сразу стрелять, обстановка заведения Гулливера, видимо, влияла и на него. Джек Недотрога, с тяжелым недоумением рассматривая защитников Отелло, натужно прохрипел:

— Белые за негров! И господь смотрит на это с небес?

Посетители размежевались на две кучки. Одна, маленькая, концентрировалась вокруг Отелло, другая, огромная, безлико-разъяренная — ревущие пасти, и дикие глазища — напирала на них. К кучке Отелло протолкались д’Артаньян и Робин Гуд, к ним присоединились доктор Штокман с Пер Гюнтом, маленький пан Володиевский и кудрявый Анжольрас. Д’Артаньян проворно отломал одну ножку от стола, остальными тремя завладели его товарищи. Володиевский взмахнул палкой, как саблей, она так свистнула в воздухе, что нападающие попятились.

— Ну, что ж, Недотрога! — насмешливо крикнул д’Артаньян. — Вам не понравилось прикосновение руки адмирала, но, может быть, прикосновение деревяшки будет приятней?

Мои толстяки явно не хотели вмешиваться в ссору. Сперва исчез Фальстаф, за ним Горанфло и Пиквик. Гулливер умолял завсегдатаев помочь навести порядок. Джек Недотрога молча сгреб его и отшвырнул. Бонд выхватил пистолет и выстрелил в Отелло. В тот же миг Володиевский сделал выпад, ножка от стола ударила под руку Бонда, пистолет разрядился в потолок, а Бонд с воплем схватился за покалеченный локоть. Я много читал и о дьявольской быстроте, с какой агент 007 производит свои выстрелы, и о мастерстве славного польского полковника, но ловкость обоих показалась мне сверхъестественной. Все произошло за долю секунды: стремительно вырвавшаяся из кармана рука, еще стремительнее ударившая по руке палка.

Джеймс Бонд со своей поврежденной рукой опасности для защитников Отелло уже не представлял, но выстрел стал сигналом к атаке. Толпа безликостей ринулась на классиков. Рожи напирали на лица, фигуры хватали за горло образы. По залу разнесся дикий рев Джека:

— Выбить из классиков пыль! В окно их!

Схватка мигом стала всеобщей. И хоть классики сражались умело и отважно, орда безликих брала числом. Они орали, ругались, падали, вскакивали, снова перли — тупо и беспощадно. Ни одного упавшего классика я не увидел, каждый держался на ногах гораздо тверже героев чтива, но шеренга их постепенно оттеснялась. Один звероподобный тип напал на Заглобу: старый шляхтич зычным басом звал друзей к оружию, это не понравилось какому-то персонажу, явно еще не превратившемуся из обезьяны в человека. Заглоба, струсив, пытался убежать, но тип настиг его, и тогда страх превратился у Заглобы в отчаянную храбрость. Закричав: «Ах ты, Бурлай!» — возможно, старинное польское ругательство, так хватил преследователя кулаком, что тот рухнул. На помощь к Заглобе поспешили Перегринус Тис и Фигаро, а он, гордый победой, благоразумно убрался в тыл, не переставая взывать: «К оружию, кто в бога верует, к оружию!» Над толпой, жалобно вереща, пронесся толстый гений Тетель, похожий скорей на пиявку, чем на благопристойного гения, он метался, выискивая в зале спокойное местечко.

Я, конечно, понимал, что мне не только ввязываться в сражение, но и показываться нельзя, и, затаившись за пальмой в кадке, украдкой наблюдал битву. И вдруг я увидал, что Дженни Гиена вцепилась в белокурые локоны Маргариты и с клекотом тащит ее к раскрытому окну. Этого вынести я не мог. Я метнул в Дженни пивную бутылку. Гиена затявкала, стала оглядываться, и Маргарита спаслась. Выскочив из-за пальмы, я нокаутировал рожу, одолевавшую отважного, но в боксе несведущего Одиссея. Рядом старик Просперо отчаянно вырывался из лап двух страшнорылых одинаковостей, я свалил их на пол.

— Спасибо, мой дорогой Ариэль! — воскликнул Просперо. — Если бы не вы, мои клочья уже летели бы по воздуху. В какое время мы живем!

В этот момент меня узнал Том Тапкинс.

— Чужой! — взвыл он. — Бейте его, он не из книги!

— Бейте его! — загремели, заорали, замычали, заклекотали, залаяли, завизжали безликости, все враз поворачивая на меня. — Бейте его, он не из книги!

Меня прижали к стене, я отбивался стулом от хищных лап. В толпу врезались сразу трое — д’Артаньян, Анжольрас и Володиевский. В бою каждый из них стоил дюжины бандитов — те снова попятились.

— В дверь! — крикнул д’Артаньян. — Живей, приятель, живей!

Какую-то секунду меня томил стыд, бегство походило на предательство, ведь тем, кого я с детства любил, кому всегда желал подражать, приходилось плохо. Но спаситель мой снова закричал, чтобы я немедленно бежал, и я рванулся из зала.

11

Убегая, я знал — надо захлопнуть дверь в ресторан и торопиться к выходу, который сторожил Дон Кихот, превратившийся в Дунса Кехаду. Единственная опасность, так мне представлялось, была в том, что кто-либо из безликостей погонится: я плотно прикрыл дверь, навалился на нее телом, чтобы никто не вырвался из зала. Но тут же, потрясенный, забыл и о двери, и о том, что творилось за ней, и об опасности, не отведенной еще от себя. Даже в малярийном бреду я не мог бы прифантазировать то, что предстало моим глазам.

В зале, уставленном высокими шкафами, метались книги.

Трещали распахиваемые изнутри дверки шкафов, наружу выбрасывались фолианты, тома, брошюры. Книги распахивались в воздухе, махали переплетами, как крыльями, рушились одна на другую, подпрыгивали на полу. Зрелище было похоже на землетрясение, я в ужасе ждал, что вот-вот раскроется пропасть и все туда рухнет — и шкафы, и книги, и призрачные гости славного ресторатора Лэмюэля Гулливера, и я сам. Но то было не землетрясение, а битва.

Книга схватывалась с книгой. Книга шла стеной на книгу.

Трехкилограммовый кожаный фолиант — даже издали было видно, что это роман о великих Гаргантюа и Пантагрюэле — рухнул с верхней полки невдалеке от меня на кучу ползавших комиксов в бумажных обложках и раздавил их. И еще я увидел, как бездна других комиксов, вырвавшихся из шкафа, словно стая крыс, ринулась на бессмертный роман и облепила его: фолиант ворочался и сметал их, но комиксов все прибывало. Я хотел было поддать ногой в отвратительную кучу крикливо-ярких обложек, но побоялся, что эти поделки ударят на меня. К тому же, оглядываясь, я увидел, что везде классические творения отбивались от дешевых назойливо-красочных изданий: зал превратился в клокочущее месиво озверевших книг. И хоть классики были мощней, массивней и мужественней — поделки, как и безликости в ресторане, брали числом. Мне вдруг вспомнилось, что каждый год на земном шаре теперь печатается свыше пяти тысяч романов — за все века до двадцатого бессмертных творений создано меньше, чем ныне выпускается поделок за десятилетие. Эта мысль не дала вмешаться в сражение книг — я прокладывал себе дорогу к выходу, отбиваясь от того, что падало сверху, и отшвыривая то, что путалось в ногах.

Все новые и новые массы книг вырывались из шкафов, все новые тома торопились в битву. Кружилась печатная миллионостраничная масса, оглушали хлопанье переплетов, дикий шелест рвущихся страниц. Две книги, падая, вонзились одна в другую, как две колоды карт, перетасованные страницы визжали живыми голосами. Я оттолкнул их кулаком. Я шагал по месиву обложек, картинок, страниц, переплетов — и меня терзало ощущение, что это не мертвые вещи, а живые, и я иду не по вещам, а по телам, и под моей пятой они корчатся. Вырванные страницы белыми тучами взметались и реяли, надо было расталкивать их, чтобы не потерять дороги. Впереди замельтешилась оголтелая стая книжиц о Бонде и Джеке Недотроге, они навалились на толстенный том Шерлока Холмса, но великий сыщик, отличный борец, скользя по полу, сметал с переплета всю осаждавшую его непотребь. Визг разрываемых страниц и хлопанье обложек стали подобны непрерывно гремящему взрыву. Я оглох от грохота и визга, не пройдя и половины помещения. Но глаза не утратили зоркости, и я заметил, что в сплошной белизне летящей бумаги замелькали черные фигуры: преследователи вырвались из зала и, слепо шаря руками в бумажной пурге, выискивали, куда я бегу. Опасность придала мне силы, я уже не шел, а бежал, не отшвыривал, а давил размалеванные поделки, только старался не попасть ногой в сражающиеся великие творения.

Одним рывком я распахнул выходную дверь, другим захлопнул ее. Пробежав мимо растерянного Дон Кихота, я пустился наутек по темной улице. Из переулка вывернулось свободное такси. Я вскочил и крикнул:

— Гоните во весь газ! Меня преследуют бандиты. И вам не поздоровится, если они нас настигнут!

12

Дороти была так встревожена моим долгим отсутствием, что я едва не проболтался, каких происшествий стал участником. Она гладила мои руки, всматривалась — она сразу почувствовала, что приключилось что-то скверное. Я сказал сколько мог веселей:

— Ничего особенного, дорогая. Удирал на такси от бандитов.

Ее глаза, и без того не маленькие, стали огромными.

— Бандиты? Какие бандиты, милый?

— Обыкновенные. Верней, не совсем обыкновенные. Но достаточно скверные. Я бы сказал даже — гнусные.

Она потребовала объяснений. Я дать их не мог. Зато не поскупился на вымысел, он был в данном деле правдоподобней правды: я воспользовался забавной теорией полусумасшедшего исцелителя от сумасшествия Боберман-Пинча. Бандиты выскочили из темного переулка, когда я шел по окраинной улице. Как очутился на окраине? Обдумывал новый роман и незаметно дошагал до пригорода. Бандиты орали: «Стой! Стой!», я, естественно, побежал. Они, кажется, стреляли, но так звенело в ушах от бега, что не уверен, были ли то выстрелы или почудилось.

— Милый, — сказала она, бледнея от страха: бледность очень шла к ней, — ведь они могли убить тебя пулей. Ты же сам писал о золотых пулях Красавчика Джексона.

— Еще бы! Пистолеты обычно заряжаются пулями, ты права.

— И я бы осталась вдовой! — Она зарыдала от жалости к себе.

Рыдающей я Дороти еще не видел, но слезы тоже не безобразили ее. Я успокоил Дороти. При выстрелах попадают не все пули, а только одна из десяти, так писали до меня, так и я пишу. Они не успели выстрелить десять раз. Пуля, которая должна была сразить меня, осталась в стволе.

Она была проницательней, чем я думал.

— Гангстеры промахиваются в книгах, Генри, в жизни они часто убивают с первого выстрела.

Она опять залилась слезами, и опять я утешал ее словами и ласками. Потом она прилегла на диван и заснула. Я придвинул кресло к дивану, смотрел на нее, размышлял о ней.

Дороти была красива, это не вызывало сомнения. Красота ее поразила меня при первом знакомстве, с того часа она меньше не стала. Дороти лежала, сжавшись в комочек, положив одну руку под щеку, другую сбросив вниз. Даже эта неуклюжая поза не портила ее. Лицо освещала лампа под оранжевым абажуром. Временами Дороти шевелилась, тогда лицо как бы двигалось и меняло выражение: тонкое, нежное, немного наивное, немного глуповатое, но так по-особому, по-хорошему глуповатое, что становилось от этого еще красивей. Нет, ни на Медею, ни на Маргариту, ни на Офелию, ни даже на Сольвейг, которых я сегодня так близко лицезрел, Дороти не походила, она была красивей тех знаменитых дам, да к тому же не заемной, а своей, неповторимой красотой. И я почувствовал нежность к жене, такой прекрасной и так горячо не пожелавшей быть вдовой.

И тут меня пронзил холод. Я сказал — «своя, неповторимая, особая». Нет, а что в Дороти своего, в чем неповторимость, где особость? Я наклонился к дивану, Дороти сквозь сон почувствовала мое приближение, нежно улыбнулась. Я с трудом удержался от того, чтобы, вскочив, уйти. Я понял страшную истину: в Дороти не было ничего своего. Она была составная. Я снова наклонился, снова всматривался, снова искал... сам не знаю чего! И открывал черты, признаки, особенности, свойства, характерности, заимствованные, украденные, уведенные, срисованные, но — чужие. Вот этот изгиб бровей — он же от знаменитой киноактрисы! А эта линия рта — она же с рекламы французской косметики! И розовая оттопыренность ушек, и локоны, и темно-оранжевая загарность щек!.. А поворот шеи? А томная поза? Это специально разработано для спящих красавиц, только такими они должны покоиться, чтобы и во сне не потерять привлекательности! Все, все с чужих, все чужое!

Я отошел к столику. Я бессмысленно смотрел на яркие обложки дамских журналов, разбросанных на столике. Я боролся с собой. Ну, хорошо, хорошо, внешность — предмет подражания, все женщины копируют модных красавиц. А мысли? А чувства? Ее любовь ко мне? Разве они не искренние? Разве они не свои? Ответь на этот вопрос, сказал я себе, и тогда устанавливай, какова Дороти.

— Искренни, но не свои! — дал я себе беспощадный ответ. — Все заимствовано!

Я стал вспоминать, как вела себя Дороти, как говорила, что говорила. И с ужасом убеждался, что не припомню ни одного слова, ни одной мысли, которую бы не слышал или не читал раньше. Она объяснялась теми же словами, какие тысячекратно повторены в тысячах книг, теми же интонациями, какими доносили до нас сотни актеров. Я знал теперь, что для любого ее слова и желания найду горы книг, где эти желания и эти слова уже описаны. Она вся от ног до гребешков была десятичностью, сборником тысячекратно повторенных шаблонов. И если и было что-то свое, то лишь в том, что один шаблон она делала своим, а другой — отвергала.

— И это неплохо! — сказал я себе вслух. — Вся наша жизнь — шаблон. Рождаемся, растем, цветем, умираем... Не оригинально. Примирись с этим, друг мой!

Я не мог с этим примириться. Все было гораздо сложней того, что Дороти являла собой собрание повторений и шаблонов. Сама она была лишь крохотным эпизодом, лишь маленькой деталькой огромного, грозного, чудовищного процесса, разразившегося среди людей. И я пытался разобраться в злой проказе, исказившей облик мира, смотрел на красивое усталое лицо Дороти — и не видел ее. Я проверял факты, делал следствия из событий, приходил к чудовищным выводам, от них отшатнулся бы даже певец безумия Боберман-Пинч.

От прежнего наивного представления, что я живу среди естественных людей, остались одни руины. Сегодня я узнал, что общество состоит не только из людей, рожденных женщинами, но и из человекообразных существ, порожденных литературой. О нет, создание книг было не завлекательным сочинительством, как воображалось мне недавно. Книги вторгались в реальность. Сколько раз я читал, что литература отражает жизнь. Это верно, не возражаю. Но верно и другое: жизнь отражает литературу. И с каждой новой книгой второе делалось могущественней: придуманные великие и мерзкие персонажи оборачивались живыми созданиями — точно такими, как их придумывали: забавными и опасными, благородными и мерзкими, высокими образцами совершенства или подлым комплексом низменности.

Я вышел из спальни, прошел в библиотеку. Почти половину своего сумасбродного гонорара я вложил в эту комнату. Джон использовал все свои связи в книжном мире, чтобы ублажить меня. Семь тысяч томов, шедевры и скудоумные поделки, сияли здесь золотым тиснением корешков, радугой мягких обложек. Какую же массу тысячекратно повторенных псевдолюдей породила каждая! Я схватился за голову, мысли холодными змеями копошились в мозгу. Книг даже в этой комнате так много, что одни хранящиеся здесь человекообразования могут заполнить все поры общества. И я вспоминал комнату, ведущую в призрачный ресторан Гулливера, она в сотни раз больше моей, в ней в тысячи раз больше книг — каждая в свое время была литературным событием, каждая стала источником добра или зла. Как они сражались, те книги! Добро шло на зло, зло подминало добро! А что если реального общества уже нет, и все мы — собрание литературных героев под псевдонимами? И что если сам я, Генри Гаррис, тоже персонаж какой-то позабытой книги? Разве не швырнула мне это в лицо проклятая Дженни Гиена? Какие основания считать, что она врет? И во мне не столько ли жизни, сколько присудил автор той неудавшейся книжицы, моей родительницы?

— Хватит! — крикнул я на себя. — Возьми себя в руки. Персонажи не отменили реальных людей. Не впадай в фантастику!

Нет, человек пока не истреблен, заверял я себя. Но заговор компании литературных персонажей против человечества — несомненен. О нем свидетельствовали и сегодняшняя ссора в зале, и свалка в книгохранилище. Фигуры и безликости поначалу таились среди героев, их было мало, они не набрали сил — сегодня, взыграв, ринулись наступать. Они не остановятся, пока не забьют великие образы, потом пойдут на людей — и превратят жизнь каждого человека в мелкое событие комикса. Таков адский план. И никто о нем не догадывается, никто, никто!

— Я догадался, я знаю! — страстно объявил я себе. — Я не буду стоять в стороне. Вы пишете в статьях и заверяете в телепередачах, что я гениальный писатель. Узнаете теперь всю тяжкую меру моего гения. Иду на вас! О, это будет зрелище! Всеобщее истребление истребителей! Создаю антилитературу. Битву в книгохранилище повторю на каждой странице нового романа! Книга будет убивать книги. Да, да, да!

Я так долго и так сильно кричал это вслух, что вдруг закружилось все вокруг и я еле доплелся до кресла. Теряя сознание, я думал, что умираю. Но это был только сон.

13

Утром я позвонил Чарльстону:

— Алло, Джон! Начинаю потрясающую вещицу. Воистину невозможное о невозможном! На девяносто девять процентов зачеркиваю всю мировую литературу! Что? Не понял!

— Гаррис, вы титан! — невнятно орал издатель. — Вы переплюнете не только Шекспира, но и Беллингворса. Катайте свою новую книгу, вы меня понимаете? Сегодня перевожу аванс.

Сейчас ночь. Я устал. Я весь день колотил по клавишам. Ничего другого в этот день не произошло, кроме того, что я сидел за машинкой. Но это такое событие, что должен записать его отдельно — продолжаю, оставив книгу, дневник. Ох, что то был за день! Сброду псевдолюдей придется несладко! Я ввел в свой роман чужие персонажи. Известный бандит Джек Недотрога сталкивался с шайкой известного бандита Джима Джексона, по прозвищу Харя-Красавчик, и в развернувшейся ужасной борьбе они взаимно друг друга уничтожали. Попутно Недотрога приканчивал Джеймса Бонда, справедливо заподозрив, что тот совмещает профессию правительственного шпиона с ролью лазутчика враждебной банды. Таков был замысел.

— Сперва один, потом другой! — ликовал я. — Пусть никто не ждет пощады! Взорву изнутри литературу псевдолюдей! Какой удар хватит старую крысу Беллингворса!

Убийство помощника Джека Недотроги сошло легко: его подстерегли, придушили, запихнули в мусорную машину и вывалили на свалке. Но с Гиеной пришлось повозиться. Шайка Джека настигла Змею, когда та выходила из парикмахерской, и Гиена-Змея дорого продала свою жизнь. В момент, когда в нее сбоку стрелял Джеймс Бонд, а с лица сам Недотрога и она, изворачиваясь, сеяла веером пули, и одна, поразив Бонда в руку, превратила его в инвалида и тем предначертала ему в дальнейшем судьбу беззащитной жертвы, — именно в этот момент я ощутил, что действие вдруг раздвоилось. На бумаге марионетки двигались, как я им приказывал, орали предписанными голосами, дико — в точности по заданию — вызверивали рожи; а в голове у меня звучали другие голоса — и они были мне неподвластны.

— Проклятые, вы все-таки меня поймали! Не радуйтесь, Харя-Джексон отомстит ужасно! — хрипела Гиена на бумаге, а внутри меня надрывно вопила: — Не надо, Гаррис! Вспомните, мы на руках принесли вас домой! Посадите меня в тюрьму, только не убивайте!

Я не внял ее мольбам, и Дженни Гиена, по прозвищу Змея, испустила дух. Она лежала на пыльном асфальте у парикмахерской, рыжая, нарядная, в зеленовато-желтом платье, вытянув тонкую шею и раскинув крепкие руки теннисистки. В ее салатных глазах отражалось все, чего она уже не видела, — нахально ухмыляющийся усатый пижон на вывеске парикмахерской и молча стоявшие вокруг прохожие, и два каштана неподалеку, и стоэтажная сияющая башня Радиоцентра — и она смотрела на меня, только на меня, всеми бесчисленными картинами, отраженными в мертвых глазах, корила, что я не пожалел ее. Я вытер с лица холодный пот. Даже придуманных людей убивать не просто. Патрик принес обед, я поел и минут пятнадцать сидел в кресле, закрыв глаза.

Усталость прошла, и я приступил к следующей главе. В ней Джек Недотрога и верзила Том Тапкинс, по прозвищу Крошка, взаимно приканчивали один другого. На первой же странице стало ясно, что пишется трудно не от усталости. Во мне все сильней звучали разные голоса. Одни я переносил на станицы, они составляли движение сюжета, другие возникали непроизвольно, они опровергали сюжет, путали мои мысли. Я катил роман сквозь эти вторые голоса, как автомобиль сквозь густой кустарник, и с каждой новой фразой сопротивление возрастало. Временами мне мерещилось, что сквозь такую разноголосицу не продраться — я оставлял машинку и переводил дух.

— Все в порядке, хозяин, будет исполнено! — бодро рапортовал Том-Крошка Харе-Джексону, посылавшему помощника в логово Джима Недотроги разнюхать обстановку. Заверения верзилы Тапкинса запечатлевала бумага, но в душе моей раздавались иные звуки. Тапкинс говорил с Харей-Красавчиком, а смотрел на меня. — Ты, очкастый слюнтяй, — злобно хрипел гангстер, — попробуй только меня, как бедную змейку!..

Я все же перехитрил Тапкинса, он попал в засаду. Джек Недотрога вонзил в Тома кухонный нож, он по условию шел на свидание без огнестрельного оружия. А Том, рухнув, выпустил в Джека две пули, он условия не сдержал, зная, что к Недотроге, даже лишенному пистолета, без надежной защиты не подходи. Все пока шло по замыслу, тут командовала моя воля. Но уже на земле, издыхая, Том выпустил третью пулю — и не в проклятого Недотрогу, а в меня. Лихорадочно отстукивая сцену смерти, я чуть было не вписал по запарке: «И третьей пулей, выпущенной уже слабеющей рукой, Том Тапкинс, по прозвищу Крошка, сразил самого жестокого своего врага, автора этого романа». Я нервно расхохотался, сообразив, что делаю. Патрик принес кофе. Вошла Дороти. Я отослал обоих. Я был в нетерпении. Сюжет проходил кульминацию. Я вел на гибель самого Харю-Красавчика, знаменитого гангстера Джима Джексона, величайшего человекострадателя среди душегубов. Я создавал шедевр расплаты: вбивал осиновый кол в тело гангстерской литературы!

В отличие от своих помощников, великий гангстер молчал в моей душе. Он чистил пистолет, заряжая его золотыми пулями — прославившее его орудие убийства — и бросал на меня быстрые недобрые взгляды.

— Никого не щадить! — приказывал я себе. — Никого не щадить!

«Получив фальшивую записку уже не существовавшего Тома Тапкинса, ничего не подозревавший Харя-Джексон стал торопливо собираться в дорогу», — лихорадочно отстукивал я на машинке.

И тут случилось чудовищное. Я подвел Джексона к двери. Создатель акционерной компании «Жизнь до востребования» должен был нахлобучить темную шляпу на глаза и тихо выскользнуть наружу. А он вдруг обернулся и быстро вскинул на меня пистолет. Я отскочил от машинки. Выстрела, конечно, не последовало, но у меня сердце стучало, как мотор с поплавленными цилиндрами.

Я отошел к другому столику и дал себе часовой отдых. На второй машинке я записываю дневник. Меня трясет. Еще никогда я так не нервничал. Сейчас встану и уничтожу созданное мной чудовище. Глупости все эти страхи! Я вел Харю к славе, я сброшу его в бездну ничтожества. Я успокоился.

Я иду!

###### Послесловие Джона Чарльстона, директора издательства «Голова всмятку».

Ужасно, вы меня понимаете! Кровоизлияние в мозг произошло в момент, когда великий художник ракетно-ядерной эпохи Генри Гаррис приступил к последней главе своего нового шедевра.

Патрик, увидев хозяина на полу, кинулся к телефону, не трогая тела, чтобы случайно не оставить следов.

Первым примчался Боберман-Пинч. Вторым я. Генри Гаррис лежал на ковре, весь изогнутый и изломанный, словно отчаянно с кем-то перед смертью дрался: ковер был сдвинут, стулья опрокинуты, пишущая машинка валялась у окна, — и должен вам сказать, в таком состоянии, будто ее колотили если не молотком, то тяжелыми сапогами, во всяком случае. И плотная портьера, прикрывавшая окна, была сорвана, не просто сорвана, а обрушена вместе с карнизом. Жуткая картина, говорю вам! Пейзаж небольшого домашнего светопреставления, таким мне предстал рабочий кабинет моего незабвенного великого друга.

Один стол стоял на своем месте несдвинутый и неповрежденный. На столе лежали две рукописи — незаконченный роман и дневник. Роман я забрал, дневником завладел Боберман-Пинч.

Он в восхищении. Он твердит, что большего вздора не читал.

«Это совершеннейшее безумие! — ликует он. — И до того правдоподобно, что хочется повеситься».

Боберман знаменитость, но его выкрики и гримасы утомляют меня. Я сказал, что если он повесится на моих глазах, я не буду торопиться извлекать его из петли.

Он воскликнул, что я верный друг, и растроганно пожал руку.

— И вы, и я расписаны в дневнике такими скотами, что пальчики оближешь! — сказал он с воодушевлением. — Нет, Гаррис видел человека насквозь! Вам понравится. В одном он, впрочем, ошибся. Он думал, что если убьют героев в книге, то они исчезнут. Не понимаю, как в такую светлую голову могла закрасться столь неудачная мысль. Живого человека достаточно убить, чтобы его не стало. Но убитые в книгах герои продолжают жить. Иные становятся еще жизненнее, когда их приканчивают. Ему не надо было ссориться со своими героями, конфликт с ними — вот причина смерти. Это говорю я, Луис Боберман-Пинч, и попробуйте меня опровергнуть!

Я не стал спорить и ушел к Дороти. Дороти то льет слезы, то примеряет траурные платья. Я пытался ее утешить, она рыдала еще сильней.

Портнихи действуют на нее лучше, я пригласил сразу двух, они приехали с чемоданами черных тканей. Надеюсь, траурные туалеты отвлекут мою бывшую секретаршу от траурных мыслей.

Когда я воротился в кабинет Гарриса, там хозяйничал капитан полиции с отрядом своих специалистов.

Сыщики ползали по полу, фотографировали мертвое тело, сдвинутую мебель, разбитую пишущую машинку. Они так старались, что я растрогался. Если бы перед ними предстал убийца великого писателя, они, не сомневаюсь, тут же схватили бы его за шиворот — такими все выглядели энергичными и расторопными.

Я спросил капитана, нашли ли что существенное?

— Мы установили, что была драка, — ответил капитан. — Все данные сводятся к тому, что Генри Гаррис жестоко боролся. Он сразу не поддался, это можно считать доказанным. Осмотр помещения дает только такую картину. Уверен, что лабораторное исследование образцов пыли и поломок вещей подтвердит это заключение.

— Что несчастный Генри дорого продал свою жизнь, ясно и без лабораторных исследований. Но с кем он боролся? Кто напал на него? Вот на что дайте ответ.

Капитан смущенно отвел глаза. Он, похоже, затруднился с точным ответом.

— Видите ли... Боюсь, что на Гарриса никто не нападал. Мы не нашли следов посторонних лиц. Гаррис был один.

Капитан справился со своим смущением. Теперь он говорил почти уверенно:

— На Гарриса напал он сам... то есть сам Гаррис. Я хочу сказать, что умерший боролся только с собой. На мебели, на теле, на вещах лишь следы его собственных рук. К сожалению, это все, что нам удалось точно установить.

Пока я разговаривал с капитаном, Пинч что-то искал на теле Гарриса.

— Инсульт, — сказал он, поднимаясь. — А перед разрывом сосудов в мозгу приступ дикой ярости. Нападение на самого себя, самоистребление — такова внешность, и только ее вы видите, капитан. Хороший врач обязан заглянуть глубже. Что породило внешнюю картину гибельного сражения с собой? Вот какой вопрос я задаю себе. И ответ получается естественный. Голову на отсечение, Красавчик успел поразить нашего гения своей золотой пулей. Но и следа нет от выстрела, вот единственное, что меня смущает.

Он искал мифическую золотую пулю! Нет, вы меня понимаете?